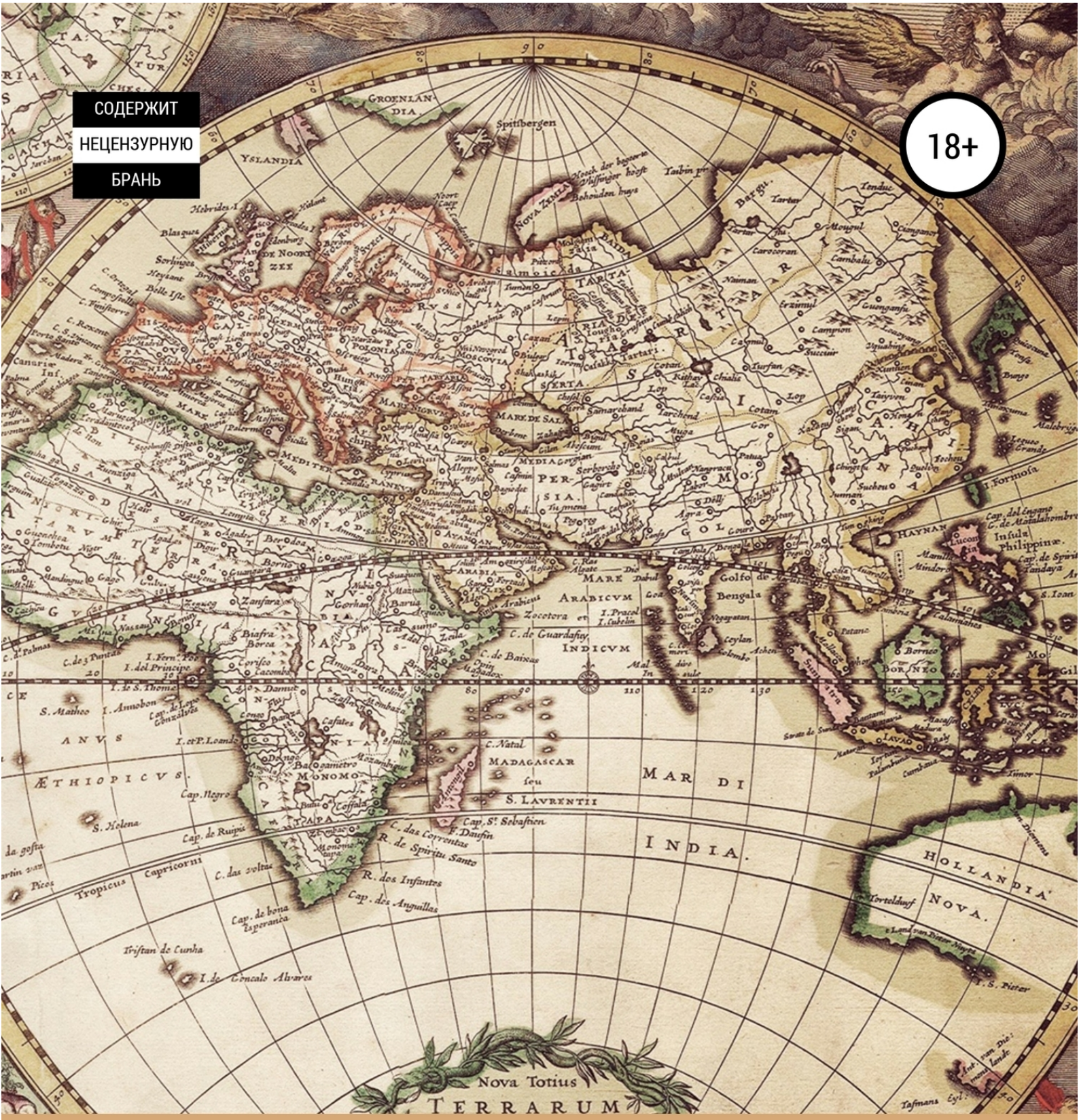

Владимир Шапко

Муравейник Russia

Книга первая. Общежитие

Владимир Шапко

Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Шапко В. М.

Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие / В. М. Шапко — «ЛитРес: Самиздат», 2018

"Хроника времён неразумного социализма" - так автор обозначил жанр двух книг "Муравейник Russia". В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка - не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроник - "Общежитие" и "Парус" - два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему.Содержит нецензурную брань.

© Шапко В. М., 2018
© ЛитРес: Самиздат, 2018

Содержание

1. Общежитие ранним утром 5
2. Антонина Лукина 6
3. «Серов попал в вытрезвитель!» 7
4. Маленький Серов 9
5. Манаичев 10
6. Тараканы по полу, паук на потолке 11
7. Московский зоопарк в 1939-ом году 12
8.Абрамишин женился! 18
9. Как назовём младенчика? 21
10. Чернильно-фильдекосовый и его подчинённые 23
11. Всё началось с собаки Джек 26
12. Дежурство Кропина 29
13. Старинный чернильный прибор 32
14. Наше общежитие 38
15. Детская коляска 41
16. «Вот он наш охват? Наше зрение?» 43
17. Превращение Маленького Серова в Серю Серого 46
18. Подаренная старинная пишущаямашинка 50
19. Дмитрий Кропин и Зинаида Кочерга в январе 40-го года 54
20. Концерт 57
21. Папаша Куилос и тётка Гретхен 60
22. Долгое лето, или Русские пляски 65
23. Дети-пэтэушники в общежитии взрослых 71
24. Бра-ла-а! 74
25. Нечистая сила, или Грёза любви 79
26. Борец трезво-пламенный, или А если по высшему счёту? 84
Конец ознакомительного фрагмента. 89

1. Общежитие ранним утром

Вверху заверещал будильник. Был тут же прихлопнут. Босо побежали по потолку. Прошипели змеями,разметнулись шторы. Щёлкнула клавиша. И сразу с потолка потекло жалобное, скулёжное:

Остановите му-зыку!
Прошу вас я, прошу вас я!..

Нагорбившись, Александр Новосёлов стоял перед трельяжем. Из главного зеркала на него смотрел невероятный, дикий человек. Человек был в нижнем белье, но в шапке с завязанными ушами и валенках. На руках – большие перчатки… Все лицо дикого было в коричневых полосах. Как если б что-то давили на лице и размазывали. И сразу забывали. Давили судорожно – на щеках, на подбородке, за ушами – и тут же забывали, засыпая, причмокивая сладко во сне… Чесались, шкрябались— чтобы через мгновение заснуть!..

Постель, сброшенная ночью, так и валялась на полу. Как будто непрожёванная. Железная оголённая кровать, отодвинутая далеко от стены, стояла ножками в банках с водой. Походила на чёрный наэлектризованный опасный элемент… Не помогло.

Сняв, содрав с себя всё, Новосёлов ушёл в ванную. В крохотной ванночке Мыслитель Родена сидел, как и положено в ней сидеть – накорнувшись на кулак. Окинутый душем, думал, как ещё бороться с клопами. А заодно и с тараканами. Чт*о*ёще не пробовал… По потолку широкими твистующими зигзагами резали уже две пары женских шустрых ног:

Наш адрес – не дом и не у-улица-а!
Наш адрес – Советский Сою-юз!..

Брился у окна, подвесив на ржавый крюк железной оконной рамы зеркальце. Окно начиналось почти от самых ног Новосёлова. Выпасть из него можно было запросто. Далеко внизу в обнимку с предутренней хмарью уже приплясывали на асфальте пацаны. В пэтэушных своих бушлатах с тряпичными клеймами на рукавах. Над ними медленно шла, останавливалась, меняла очертания туча сероватого цвета.

Вывернул из-за общежития тяжёлый длинный «Икарус». Невесомо, точно сажа, пацаны снялись, полетели к нему. Ударялись, отлетали, ласкали его лаковую поверхность. Сбились в кучу у двери. Напряглись, приготовились. Дверь ушла – и началось яростное всверливание. Жестокие живцы бились в чёрной щели. Садили локтями друг дружку по головам. В лицо, в зубы… Накрыленно, как пойманный беркут, навис над рулем шофер. Смотрел вперёд, стискивая зубы, матерился.

Внутри падали в высокие кресла прорвавшиеся. Мгновение – и раскидались. Побегали два-три неудачника – и тоже стали. Безразлично. Точно они – вовсе не они. Всё так же цедя сквозь зубы, шофер выпустил скорость вниз, тронул. Начал выводить, выруливать на магистраль. Словно переждав всё, туча двинулась за автобусом.

Новосёлов смотрел. Вернул взгляд в комнату. Блуждал им, ни на чём не мог сосредоточиться. Безотчётно брал бритву, откладывал. Высохшее мыло стягивало кожу. Жёстко стёр его.

2. Антонина Лукина

…Его привёл Коля-писатель. И он сразу ей понравился. Новосёлов. Константин Иванович. Пожилой, правда. Но волосы… Даже удивительно. Густые, лучистые. Так и бьют белым костром. Даже не верилось, что такие бывают. «Ну, вы сидите теперь, сидите, а я – пойду», – всё время придвигался к ним, облокачиваясь на одну свою руку, Коля. Но сам не уходил. Словно бы боялся оставить их одних. Не хотел всё пустить на самотёк. В забывчивости кидал в рот рюмки. Снова облокачивался: «Ну, вы тут… а я…» Пошёл, наконец. В гимнастерке, с подвёрнутым рукавом, поджатый, обрезанный на один бок. В дверях цапнулся за косяк. Улыбался пьяненько, не хотел отпускать комнату за спиной. Махнул рукой, и как оступился в коридор… Антонина спохватилась: «Вы закусывайте, закусывайте, Константин Иванович!» – «Спасибо, Тонечка! Я – ем!» Женат, правда. Но где сейчас неженатые. После войны-то… «Тонька, горит!» – прилетело из коридора. «О-охх, извините, Константин Иванович. Я – сейчас». – «Ничего, ничего, Тонечка, действуйте!..»

Они стояли спиной к покинутой входной двери двухэтажного дома.Как ждущие выстрела, как приговорённые. Ворочалась впереди глухая октябрьская темень… Антонина повернулась. Волосы его словно светились…«Что же вы, Константин Иванович?..» – «Да знаешь, Тоня… я ведь женат…если честно…» – «Знаю», – согласно и твёрдо сказала Антонина, сглотнув комок. И опять спросила: «Что же вы, а?..»

Он спал без храпа. Как ангел. А Антонине всё не верилось, что у мужчины могут быть такие лучистые волосы.

Приезжал он в Бирск и ещё несколько раз.

Весной 48-го Антонина забеременела.

Ходила на работу в райисполком до последнего. Когда печатала – сильно ломило поясницу. Примеряла, подкладывала под себя папки. Чтоб выше как-то было. Выше. Наконец садилась. Живот, казалось ей, уже подлез к самому горлу, а оголённые руки были худы, беспомощны, малокровны. Как не её. Как плети чьи-то…

Он появился в городке в октябре, в золотой ветреный денёк. Когда Антонина увидела его – прикрывающего в приёмную дверь – сердце её упало.А он смотрел на неё во все глаза. Охватывая всю, разом.

Он загнанно дышал, весь взмок. Чудные волосы его после шляпы замяло, поставило белым колтуном. Но глаза сияли. И уже стеснялись, не могли остановиться ни на чём. Он толокся возле стола, прижимая шляпу к груди.«Тоня, я ведь теперь собкором… Добился… Ты извини… Может, тебе неприятно… Понимаешь, часто бывать буду… И в Мишкино, и здесь…»

Они словно вместе несли Антонинин большой живот. Они пугливо ловили глаза встречных. Они удалялись в мокрое золото аллеи – как в икону.

Дома он осторожно держал руку на её высоком, твёрдом животе и сквозь тонкий ситец халата слушал вспухающие и тут же прячущиеся пошевеливания, толчки. Этакое осторожненькое ляганьице. «Ах ты чертёнок!» Крутил головой, дух переводя. Снова улыбчиво вслушивался, ждал, заперев дыхание.

А Антонина на кровати, откинувшись головой к стенке, плакала тихонько, промокала солёным платочком глаза и нос. И Иван-царевич с коврика на стене глядел на неё очами прямотаки отборными…

3. «Серов попал в вытрезвитель!»

Лифт спружинил, отстрелив, стал. Разъехались двери, Александр Новосёлов вышел в холл.

Холл походил на разбросанную плоскую декорацию, составленную из площадок и площадочек, пустую сейчас, без статистов. От лифтов и от боковых коридоров всё сбегалось к высокому стеклу со вставленной коробкой дверей, за которой пасмурно клубилось утро.

Дежурили Кропин и Сплетня. Перекидывая неподалёку на столе конверты, Новосёлов краем глаза видел, как Сплетня порывалась вскочить, а Кропин не давал ей, сдёргивал обратно на стул. Зная уже, что услышит неприятное, Новосёлов ждал.

Дмитрий Алексеевич подошёл перепуганный, бледный. Пропуская приветствие Новосёлова, подхватил под локоть, повёл на площадку, которая справа. Торопливо переставлял по ступенькам свилеватые стариковские свои ноги. Глядя в пол, говорил без остановки. Слова завязывались и развязывались как шнурки на ботинках:

– Неприятность, Саша! Беда! Серов попал в вытрезвитель! Серёжа.Привезли прямо сюда. Час назад. К жене повели, к детям. Так сказать, на опознание. Я было… Да какой там!..

Новосёлов молчал.

– Но самое главное, Саша, уже Верке шепнули… Вон… стерва…

Новосёлов повернул голову. Сплетня как-то радостно, судорожно пошевелилась на стуле. И замерла. Блаженная, невинная. Бледный, в испарине,Кропин отирался платком. Руки его дрожали. Новосёлов сжал костистое плечо старика.

Шёл в пятящейся темноте коридора-туннеля.

В кабинете за столом писала напудренная женщина. С натянутыми на головке волосами и в остроплечем пиджачке похожая на шахматную пешку.

– А-а! Уже друг идёт. Уже узнал. Садитесь, садитесь, товарищ Новосёлов. Одну минуточку, одну минуточку. Сейчас за-кан-чи-ваю… Сей-час…

Силкина дописала и локтем, на спинку стула – откинулась. Прямо,торжествующе, разглядывала Новосёлова. Снова к бумаге приклонилась,черкнула что-то. Опять откинулась… Приклонилась. Размашистая подпись.И опять победное торжество, развешенное на стуле… Подпустила Новосёлову бумагу:

– Ознакомьтесь, товарищ Новосёлов…

Пока Новосёлов читал, ходила возле стола, слегка подкидывая себя, с удовольствием выказывая себе прямые, стройные ножки на умеренном каблуке и в блестящих чулках, сунув руки в кармашки пиджачка, ещё выше остря плечи.

Новосёлов прочёл. Отложил бумагу на стол. Болезненно морщился.

– Зачем вы так… Вера Фёдоровна?.. Не надо… Честное слово…

– Д-да, – с какой-то ласковой и непреклонной утвердительностью закивала она головкой, всё подкидывая себя с удовольствием на прямых ножках. – Д-да, докладная пойдёт в ваш месткомД-да, будем выселять. Д-да, ваш уважаемый Совет – сегодня в семь. Д-да, яраспоряжусь, оповещу, не волнуйтесь, товарищ Новосёлов…

Глаза Новосёлова мучились, не находили выхода. Не мог называть её по имени, но называл:

– Но… Вера Фёдоровна…

– Д-да, обслуга по высшему разряду. И «свинью» из вытрезвителя на стену, и фотографию, д-да. В холле, товарищ Новосёлов, в холле, д-да!..

– У него ведь… дети…

– А вы как думали? – И уже остановившись, шёпотом, со сжатым ужасом в глазах: – Вы как думали, Новосёлов! А чем он думал! О чём он вообще думает!.. – И махнула рукой.

Брезгливо. Как Сталин: – Бросьте, Новосёлов.Заступник нашёлся. Плюньте на него. Забудьте!.. Отброс… Сопьётесь с ним…

Новосёлов встал, пошёл.

– Минуточку!.. Я повторяю… сегодня в семь. В Красном уголке. И чтобы весь актив! Ну, и желающие. А такие, я думаю, найдутся… А вы,как наш уважаемый Председатель…

Новосёлов взялся за ручку двери.

– Минуту, я сказала!.. – Голос её дрожал. – И не вздумайте… – Руки её вдруг начали метаться, хватать всё на столе. Она комкала бумажки. Ей хотелось добить этого парня. Ужалить. Побольней. Пудреные щечки её подрагивали. Она быстро взглядывала на него, тут же прятала глаза, и руки её всё метались: – Это вам не речи свои говорить… На собраниях… Р-разоблачительные…Это вам…Я вам говорила… И не вздумайте!.. Я…

Новосёлов вышел.

На двуспальной кровати, на казённом одеяле в чёрную клетку, плашмя лежал Серов. Лежал – как висел, как вцепился в прутья этой рисованной клетки. Опустошённые большие глаза вмещали всё окно. За окном стоял туман.

Неузнаваемо – сутуло – взад-вперёд ходила Евгения. Кулачком стукала и стукала в ладошку. Полы халата её откидывались, оголяя худые ноги. Точно за командиром, мучительно ищущим решения, поворачивали за ней головы маленькие Манька и Катька. Держались за руки. Полураздетые, тихие.

Новосёлов подошёл, загрёб их, сел и стал разбираться с разбросанной на кушетке одеждой.

– Меня пе-ервую одевай, – растянула рот Манька.Младшая.

Новосёлов кивнул.

Евгения вдруг остановилась перед ним и покачала раскрытыми на стороны руками:

– Вот!.. Вот, Саша… Вот… – всё качались руки и голова.

Подбородок её задрожал, скривился. Она словно повела его к прихожей, ушла с ним туда. Ещё больше сутулилась, плакала, клонила голову к плечу. Халат её жалко обвис. Будто не осталось под ним ничего, кроме сутулой этой, с большими лопатками спины. Новосёлов смотрел куда-то вбок.Забыто гладил детские головки.

Потом он сидел возле кровати с Серовым и, уставясь в окно, где так и не расходился туман, вяло внушал, что надо встать и идти на работу, в гараж, прокантоватьсятам хотя бы до обеда. Надо, Серёжа, сам знаешь…

Серов распластанно лежал. Точно спал с вытаращенными глазами.

– Слышишь, Серёжа?..

Зажмурившись, Серов сжал сухие, как из ремней, кулаки. В один рывок взметнулся с кровати. Пошёл в ванную. Но в прихожей остановился. Стоял перед некрасивой вздрагивающей спиной жены, точно каялся. Сам в тощем, заправленном с бугорками в носки, трико, потерявший разом свою поджарость, ловкость, силу – такой же обвисший, жалкий…

4. Маленький Серов

…Когда Серов появился на свет (случилось это в 48-ом году в Барановичах), старший Серов, отец, увидев новорождённого в первый раз, удивлённо произнёс: «Какие-то у него… свиные глазки. А?» Он работал заготовителем в кооперации. Видя, что жена выпрямилась, поспешно забормотал: «Ну-ну! Пошутил! Пошутил!» И уехал заготовлять. Через полгода он уже тетёшкал сына. Полюбил. Но втихаря ему чирикал: «Ма-лень-кий кре-ти-нок! Ма-ленький кре-ти-нок!» Жена натягивалась. Она была учительницей. «Шучу! Шучу!» Отнятому сыну все же успевал пустить вдогонку: «Нет, нет, не маленький… этот самый! А маленький… к! Просто малю-ю-юсенькийккк! У-у, ккк!» – мотал головой, закрыв глаза, стиснув зубы от переизбытка чувств.Теперь всё время дочь и мать (тёща) ждали от него. Он стеснялся после поездок за скотом. Ну а раз ждали – не удерживался-таки, выдавал: «Ну этот маленький… ккк!» – Опять со стиснутыми зубами, раздув ноздри. От переизбытка чувств. К трём годам маленький Серов побывал:Фталазолом (фталазолом пользовала тёща заготовителя, она была гинекологом. «Ма-лень-кий фта-ла-зол!»), Подгузником («Ты подгузник, ты подгузник, золочёны ножки!»), Ку*и*лосом (Кто это?! – пугались мать и дочь)… И много, много других было прозвищ ещё— выскакивающих непроизвольно, чудом, неизвестно откуда – на напряжённое ожидание, удивление, досаду, злость… «Куи-и-и-илос!» – ржал с жеребячьим долгим прононсом. И тут же успокаивал поспешно: «Шучу! Шучу!»…

У человека было, видимо, небольшое отклонение, пунктик, сдвиг… Но этого признать не захотели – и заготовителю пришлось уйти. Увидев на улице бывшую жену, заготовитель бежал к ней через весь перекресток. Сумасшедше бил офицерскими кованными сапогами по черепному булыжнику. Задохнувшись, кланялся, боком пятясь от неё, примерялся в ногу, в шаг, потирал руки, старался расспрашивать. Ну и: «Как там наш ма-а-аленький…» – И разом умолкал. Виновато посмеивался, махал рукой. Тряслись, мучались, проливались янтарные глаза сильно пьющего… Бывшая жена проходила мимо.

Уже школьником маленький Серов однажды столкнулся нос к носу со странным человеком. Увидев маленького Серова, странный человек разом остановился и словно в ужасе завис над ним. Налившиеся слезами глаза подрагивали, стеклились… Шмыгнув мимо, маленький Серов заторопился, быстренько оглядывался, проверяюще поддёргивал ранец как драгоценную поклажку. А странный человек стоял, тянул голову за ним и тяжело, вздыбливая грудь, дышал. Точно ему дали немного воздуха, дали немного пространства, где он мог теперь дышать… МаленькийСеров рассказал матери. Мать стала серой. «Это больной человек… Ненормальный. Он скоро уедет отсюда». Больше маленький Серов странного человека в городке не видел.

5. Манаичев

В обширном кабинете, во главе длинного стола, голого, как выбитый кегельбан, сидел крупный мужчина с тяжёлой булыжниковой головой. Левая рука его была сжата в кулак на полированной поверхности стола, правая – переворачивала, гоняла в пальцах карандаш. Над головой мужчины висел портрет человека, похожего на матёрого голубя.Во всю длину кабинета протянулось окно, шторы дисциплинированно таились при нём, однако в самом кабинете стоял сумрак, свет почему-то в него не шёл.

Мужчина поднял трубку. Брезгливыми швырк*а*ми начал набирать номер. Снова взял карандаш. Гонял…

«Кто? Силкину! (Карандаш переворачивался, в ожидании стукал.)Приветствую, Вера Фёдоровна! Манаичев… Ну-у! Сразу за своё, понимаешь.Цемент дал, доски дал. Чего ещё? Не забываю… Ладно. Хорошо. Будут вам унитазы. Субботину скажу… Тут вот что. Был у меня Новосёлов… Ну-у, наступил на больную мозоль! Пошло! (Карандаш с досадой стукал.) Хорошо,хорошо, разберусь. Только, к слову, Совет-то его и держит какой-то порядок в вашем бардаке, понимаешь, вам бы это давно понять… Ну хорошо, хорошо.Рога отрастут – обломаем. Но пока не трогать его. Присматриваемся. Взвешиваем. Может, и двинем, понимаешь… Кому-то надо за массой смотреть. Вам бы это, как бывшему партработнику, знать надо… Не цепляйтесь за слова… Павел Антонович недавно спрашивал. Да, о вас. Я – самое хорошее. Так что, взвесьте, понимаешь… Не стоит, не стоит. Я вас знаю.

Так вот я о чём: у вас там попался один. Привезли его в общежитие. На опознание… Да, Серов. Шофёр. Вы ему там собрание хотите устроить. Отменить. Пока – не надо. У Хромова, в автоколонне, на месте пропесочим… Не надо, я сказал! (Карандаш ударил.) Вышибем из Москвы после Олимпиады. Вы, верно, забыли, какой сейчас момент. Пролетит время, глазом не успеем моргнуть. К слову, есть указание. Да-да-да. И Павел Антонович говорил об этом. Что поделаешь, на вес золота сейчас они… Так что договорились. А с Новосёловым срабатывайтесь. Он нам нужен. Присматриваемся. Субботина пришлю. У меня всё. До свидания!»

Мужчина бросил трубку. Отвалился на спинку кресла, и ещё долгоперекидывал карандаш. Карандаш был толст, стоеросов. Под два его цвета можно было подогнать всё на столе. Всё на свете. Его можно было только раскрошить. Как череп.

6. Тараканы по полу, паук на потолке

В марлевой повязке и резиновых перчатках Кропин ползал на коленях по коммунальной кухне, подпускал и подпускал из баллончика. Под плинтуса, под газовую плиту, вдоль стены. «Сколько же вас, паразитов, развелось!По всей Москве… Тараканы, моль, блохи, клопы! Никогда такого не было!»Приклонив голову к полу, заглянул под кухонный стол Чуши. Да-а, хозяйка…Пустил туда отравы продолжительно, широко. Поливая, сметал все тенета и грязь. Дал струю и под пустую тумбочку Жогина. Так, на всякий случай. Всё так же на коленях ладонью выглаживал одеревенелую спину. Хотел уже вставать, и уставился на таракана. В метре от себя. На полу. Таракан весело, хулиганисто ждал. От него, Кропина. Потом побежал. Дескать, догоняй! Как на ветру затрепался. Как с флагом он. С победным флагом!.. А-ах, ты! Забыв про суставы, Кропин отчаянно заширкался за ним на коленях. И жёг, жёг его с садистским выражением лица.

Вставал на ноги. Суставы потрескивали, щёлкали. Сняв марлевую повязку и сдёрнув перчатки, бросил всё в раковину. Распахнув окно, глубоко дышал. Вдоль сырого бульвара пролетали машины. Неподвижный, во весь торец дома, плакат призывал хранить деньги в сберегательной кассе. А повыше, над плакатом, ходили осенние сажные облачка. «Надо предложить Новосёлову. Саше. Этот дихлофос. Сильный как будто…»

Всё время помнилось о Якове Ивановиче. Но прежде чем поехать к нему, решил выкупаться. Суббота. Пошёл к себе за бельём, полотенцем, мочалкой. Пока ходил – ванную заняли. Чуша. «У-уть, Кропин!» – со всплесками послышалось жизнерадостное с низу двери в деревянной решётке. «А-а, чёрт тебя!» Топтался, не знал, куда бельё теперь: в комнату ли обратно, на кухню ли пока? Отнёс на кухню, положил на подоконник.

В высоком коридоре, бросая взгляды на еле мерцающую под потолком лампочку (Чушин хахаль опять сменил!), далеко отстраняясь от настенного аппарата, – осторожно набрал номер. Попал не туда. Ещё попытался – опять накладка! Чертыхаясь, пошёл за очками.

С нарастающим беспокойством вслушивался в пустые и пустые гудки.Задрожавшей рукой трубку на место, на аппарат старался. Снова сдёрнул.Быстро набрал номер. Сразу упала в трубку рассыпающаяся, потрескивающая одушевлённость, и через долгую секунду взвесился в ней дорогой голос.Кропин закричал: «Яша! Чёрт! Здравствуй! Почему не отвечаешь, не берёшь трубку?» С приоткрытым ртом, улыбчиво уже, ловил ответные слова. Снова кричал. Радостно. Освобождённо.

Загнувшись старухой, в грязной ложбине потолка работал в паутинепаук. Споро двигались все лапы. Кропин смотрел. «Погоди-ка, Яков Иванович…»

С баллончиком к пауку подпрыгивал по-стариковски неуклюже, тяжело. Струи ложились как попало, не попадали. Паук быстро утянулся вверх, в угол сети, разом свернулся, как высох, пусто покачивался. Тяжело дыша,Кропин снизу смотрел. Отступил к телефону, взял трубку. «Да нет. Паук…Где, где! На потолке… Я тут с тараканами… Ну и… Да ладно об этом. Как ты-то, Яков Иванович? Как спал сегодня?» Долго слушал слова Кочерги. Снова говорил, успокаивал. Что-нибудь другое можно попробовать. Лекарств – воз.Предложил искупать. Суббота же. Забыл? Ещё раз помянув чёртову Чушу,договорился быть у Кочерги часа через полтора. Попей молока до меня. Подогрей, не забудь. Из холодильника всё же. Ну, пока!

Через два часа, изругавшись с Чушей, поехал, наконец, к Кочерге на Красную Пресню.

7. Московский зоопарк в 1939-ом году

…Когда усталые, знойные, вытираясь платками, вышли из зоопарка на площадь перед ним, у Кочерги осталось неприятное ощущение, что с ними вместе вышли и все решётки зоопарка. Что все они воплотились, наконец, в одну, гигантскую решётку в виде толстенных заостренных пик-прутьев в главных арочных воротах. Андрюшке одному было мало увиденного. Потненький, толстенький, от возбуждения похудевший личиком, он дёргал мать за руку. Дёргал и его, Кочергу. Хныкал, тянул досматривать слона-а. Уломал смеющегося Кропина. И заспешил с ним обратно, к главной решётке. Кропин, продолжая посмеиваться, подавал оборванные билеты служительнице, но та сердито возвращала их назад. А Андрюшка, держась за руку Кропина, хитро поглядывал то на него, то на билетёршу. И та сдалась. И они прошли обратно в зоопарк, помахав Кочерге и Зинаиде.

После ухода их говорить мужу и жене стало не о чем. Не догадывались даже уйти с солнцепёка. Летняя шляпа Зинаиды имела вид птицы, изготовившейся взлететь, и словно часть этой птицы Зинаида загибала ото лба вперёд рукой. Как бы делала ручкой: аxx! В сарафане стояло солнце, высвечивая прямые, чуть расставленные ноги в туфлях на полусреднем каблуке. Кочерга перекинул пиджак через руку, как официант не очень чистую салфетку. Брюки его были тяжелы и объёмны, а б*о*бочка в вертикальную полоску делала грудь цыплячьей. Он всё косился на решётки забора. Решётки уходили секциями, чередуясь столбами квадратной кирпичной кладки. Они мучительно что-то напоминали. Часть чего-то. А чего, Кочерга никак не мог уловить, вспомнить…

Спал ночью плохо. Снилось мучительное, недосягаемое. Он идёт бесконечным кругом вдоль ограды зоопарка. Мучаясь, оглядывает её решётчатые камеры-секции, из которых можно смотреть и в зоопарк, и из зоопарка, но говорит, уверяет себя, что это всё не теперешнее, эти камеры-секции. Нет, нет, это всё очень давнее, древнее, древнегреческое, эллинское, изысканное, обрамлённое колоннадами с вьющимся виноградом, цветами… Он подходит к секциям и, закрывая глаза, гладит ржавые толстые прутья. Шепчет: «Арфы!Эллинские арфы!» И сквозь золотую музыку арф видит раскидистые деревья,осолнечненные поляны. Видит землю обетованную… В озерцах закидываются, трясут парусными клювами пеликаны. Напряжённо ставят головы олени.Оленихи, отрываясь от травы, смотрят на Кочергу каплевыми глазами женщин. Везде поют разноцветные птицы, раскачиваются вензеля обезьян…

Вдруг в арфе заколебалось всё и, точно в воде, растворилось. Точно в кривом зеркале возникло искажённое лицо служительницы. Запережёвывалось зло: «Ваш билет!» Кочерга кинулся к соседней решётке, вцепился в прутья. «Ваш билет!» – та же рожа жуётся. Он к следующей камере. «Ваш билет!Здесь зоопарк!» Он дальше. «Здесь зоопарк! Куда?!» Он стал торопливо ощупывать себя, искать билет. Выворачивал карманы, пистончик брюк. В кармашек бобочки два пальца засунул… «Ваш билет!» Он сдёрнул парусиновые туфли, осмотрел. Пусто. Снял штаны, вывернул, просмотрел каждый шов. Майку, трусы. Ничего. Голый, пытался заглянуть через плечо. Себе на спину. Билета не было… Тяжело заплакал. Спазмы корёжили лицо, давили горло. Пошёл прочь. Билетёрша отстала.

И снова увидел её. Идёт навстречу. Уже в фуражке, с усами, в сапогах.Но – в юбке! Остановился, поражённый. Билетёрша тоже стояла, дёргая себя за ус, недовольно глядя вбок. Ждала словно от него чего-то. Кочерга повернулся, на цыпочках пошёл. Вдоль решёток. В обратный круг. Услыхал за спиной догоняющий топот. Он быстрее, быстрее. Подвывая, уже бежал. «Твой билет, га-а-ад!» – ударили за ним сапоги словно бы уженескольких усачей. На обетованной земле всё разом исчезло, куда-то попряталось. Торопливо уползал закат, кидал за собой плоские чёрные тени. А вдали, на возвышенности, словно поспешно укручивая всё,

убирая, мотался огромный слон, прикованный к месту цепью… А усачи бежали. Уже целой толпой. Взбивая сапогами пыль. Бил-ле-е-е-ет! И Кочерга припускал, припускал впереди них вдоль решёток. Подскакивая, голый. Всё пуще, пуще…

В воскресенье, ближе к вечеру, поехали пригородным от Белорусского на дачу к Воскобойникову. Кочерга, Зинаида, Кропин. В последний момент пришлось забрать с собой и Андрюшку – Отставной Нарком хлястнул об стол билетами. Двумя. В Большой. На вечер. При полном параде. С супругой. В партер, уважаемый зятёк!..

Поспешая не торопясь, постукивал и постукивал пригородный. Андрюшка пряменько сидел у окна, от волнения опять похудевший. Поворачивался к Кропину, быстро спрашивал: что это? Кропин наклонялся к нему,объяснял. Металось в деревьях, боялось отстать от поезда закатное солнце.По низу несло тяжёлую тёмно-зелёную лаву картошки в белых углях соцветий.

Кочерга и Зинаида сидели напротив Кропина. Сидели как люди, не могущие уже да и не хотящие мириться. Кропину виделся над ними Отставной Нарком. В постоянной майке своей, волосатый – он словно брал их головы сверху в щепоть и поворачивал. То так то эдак. Как гайки. И подмигивал Кропину шалым глазом…

Пучки берёз, казалось, росли прямо из дач. Кругом высоко и глухо накрывал всё вечерний сосняк. Притихший Андрюшка покачивался на руках у Кропина, вертел головкой, смотрел вверхнатяжёлую, насыщенную пахучей темнотой, хвою. Кропин устал его нести, спустил на дорогу, и тот освобождаясь от страха, или просто от перевозбуждения быстро забегал меж взрослыми.Пригибая голову, молотя сандалиями спящую пыль дороги. Со смехом Кропин ловил его, утихомиривал. На них налетали отчуждённые Кочерга и Зинаида…

Нужный поворот к Воскобойникову – прозевали. Кропин понял это,увидев щит с указателями, темнеющий впереди. Такого щита вроде бы не было в прошлый раз. Спросил у Кочерги. Повернули назад. Метров через пятьдесят и был сворот к Воскобойникову, и даже видна была его дача – в широком просвете, опустившим лес, широко раздвинувшим его…

Стояли и смотрели, почему-то не двигаясь дальше… Вечерние, высокие сосны слушали тишину. Внизу, у дыма дачи гулко метался меж стволов, стрелял лай пса. Там же – возникали, переливались людские голоса, длинные и стеклянные как сосуды. Стукался ведром, плещась, много стекая каплями вниз, скрипучий колодец. Снаружи участка, в чёрных колеях дороги стояло унылое авто Качкина в пятнах грунтовки. И возле тихо висящей берёзы уже прохаживался, смущался сам хозяин, Степан Михайлович Воскобойников.Низенький. Для гостей в просторном новом костюме, в белой сорочке. При галстуке… Помахал рукой. И все стронулись, стали спускаться к даче. Андрюшка рванул вперёд.

Кроме Калюжного приехали все. И Быстренко, и Левина, и унылый Качкин, и Зеля, и Кочерга с Зинаидой, с Андрюшкой и Кропиным. Застолье напоминало всегдашнее заседание кафедры марксизма-ленинизма института. Перенесённое вот на дачу к Воскобойникову. И было больше, чем обычно, смеха, шума, разудалой одновременной разноголосицы. И вместо бумаг и раскрытых блокнотов, перед каждым на белоснежной накрахмаленной скатерти стоял столовый прибор. И под зелёной льдиной лампы, равномерно обтекающей с потолка светом, сотрудники налегали на салаты и закуски.

Юбиляр сидел рядом с Кочергой. Сутулился в своем новом костюме,ужимался, с росинками пота, проблескивающими сквозь реденькие волосики на голове, почти ничего не ел, и только поспешно взбалтывался с бокалом навстречу, когда тянулись к нему с рюмками. Безотчётно всё время говорил бегающей Марье Григорьевне: «Маша, сядь, пожалуйста, сядь!..»

Поочередно вставали. С наполненными рюмками. Как-то сыто расправлялись. Словно на перерыв для усвоения пищи. Говорили юбиляру торжественно и от души. Чокались с его

бокалом. Остальные, как после гонга,дружно тянулись и тоже тыкали рюмками в бокал Степана Михайловича,создавая ему приятный, радужный перезвон. Тут же забывали о нём, галдели,спорили, смеялись, продолжая налегать на еду.

Встал и говорил хорошее и от души и Кочерга. Растрогавшийся юбиляр вскочил, обнял его, сам низенький, плотненький, сжал так, что Кочергаслегка икнул, ощутив, какой ещё сильный Степан Михайлович.

Марья Григорьевна подала жаркое и сама присела к столу рядом с мужем. И когда увидели их вместе, старенькой вот этой парой… сразу вспомнили сына их, Юрия Степановича, незабвенного милого Юру, нелепо (на рыбалке) погибшего три года назад… И стало всем тяжело, жалко их до слёз.Опускали, уводили глаза, перебирали что-то возле приборов. Качкин, задрав голову, часто моргал…

Марья Григорьевна заговорщицки подтолкнула мужа. Тот в испуге уставился на неё. Она извинительно улыбнулась всем, быстро шепнула ему.Он начал судорожно подниматься, сдвигая стул и хватая бокал…

Юбиляр хотя и сильно волновался, но старался говорить короче, ужимать. Поблагодарил всех за внимание к его скромной персоне, за трогательную теплоту, заботу, за подарки. («65, конечно, – возраст. Кто спорит?»Смех. Аплодисменты.) Выразил уверенность, что и дальше кафедра, руководимая молодым перспективным учёным, уважаемым Яковом Ивановичем,будет так же успешно развиваться – подтверждением тому защитившиеся Левина, Быстренко, Зельгин, и это за два только года! (Бурные аплодисменты.) И что лично он, Воскобойников, хотя и вышибленный с заведывания ею(мучительный гул, несогласие, протестующие возгласы), да-да, вытуренный, если прямо сказать, тем не менее поборол в себе все обиды и амбиции. («Мы с Афанасием Самсоновичем— старые спецы. Свое отработали. Вырастили смену. Себе на голову. (Смех!) Верно, Афанасий Самсонович?») Унылый пожилой Качкин приподнял бокал, в согласии склонил голову. (Аплодисменты). Так вот, поборол и деятельно включился в работу уже в качестве рядового её члена, в чём опять-таки заслуга уважаемого Якова Ивановича. («Позвольте вас обнять, дорогой Яков Иванович!») И опять Кочерга ощутил, какой ещёсильненький Степан Михайлович. (Бурные аплодисменты! Крики «браво»!)…

Степан Михайлович отдышался. И вообще он рад, что известные всем времена кафедра прошла в единении и сплочённости, и от этого, может быть,и в неприкосновенности, тогда как по всему институту крепко пощипали перья, так крепко, что с перьями недосчитались и голов. («А вот этого не нужно бы говорить», – подумалось Кочерге, и не ему одному.)

И в заключение: ещё раз сердечное всем спасибо! тронут! Низкий всем поклон!..

Он сел. Тут же вскочил, потому что начался небывалый по интенсивности и радужности перезвон бокалов. Кричалисо всех сторон «ура», обнимали. Марья Григорьевна на стуле с освобожденной улыбочкой вытирала платочком глаза.

После эмоциональной напряжённости, вызванной речью юбиляра, все дружно принялись за жаркое. Юбиляр в регламент уложился, жаркое не остыло, всё было в самый раз.

Ну а потом сдвинули стол, и Кропин завёл патефон. Быстренко с Зелей стали гонять дам фокстротом. Зинаиду и Левину Маргариту. С раскачкой.Словно трясли, трепали капусту.

Умиротворенно полулежал на диване Кочерга, и на груди у него соловел сонный от еды и впечатлений Андрюшка, охватив отца обеими руками. Кочерга отпивал из бокала и смотрел на оттанцовывающую под напором Быстренки Зинаиду. Отвернутое в сторону лицо Зинаиды было как кость.

Сложив руки меж колен, сидел Кропин. Словно бы только слушал музыку. Пылал от выпитого как головня. Унылого же Качкина как будто так и оттащили со столом в сторону – он вяло ставил кисть пальцами на бокал и вяло поворачивал его.

Степан Михайлович ходил, потирал руки. Как человек, который радуется, что всё так замечательно прошло. «Пейте, пейте, друзья! Хорошее вино!Лёгкое! Очень хорошее!» Про-

бирался к столу и наливал. И разносил бокалы. И сам с облегчением опрокидывал. Пятый или шестой? Да теперь уж и можно, всё позади, всё прошло хорошо. Ставил пустой бокал на стол. И опять ходил, чтобы через несколько минут снова призвать «пейте, пейте, друзья!», и налить всем и себе… Иногда опахивали слова жены, пробегающей с посудой: «Сте-пан-не-пей!» Но и это тоже было приятно, навевало благодарную улыбку – заботится…

Когда уже был разлит чай и все пили его с домашними выпечками Марьи Григорьевны, нахваливая рдеющую хозяйку… Степан Михайлович вдруг т*и*хонько и как-то надолго засмеялся. Вёл пьяненькими хитренькими глазками по лицам всех:

– Нет, вы только послушайте, вы только послушайте, чт*о* он сморозил на сей раз на Съезде, хи-хи-хи-хи, вы только послушайте. Цитирую.– И с поднятым пальцем пророка словно бы начал вещать:– « . . . .»И ещё, ещё, послушайте:– «. . . . . !»– А? Что вы на это скажете? Это же анекдот! Это же во сне никому не приснится! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи!

За столом все замолчали. Глядели на него, испуганно подхихикивая.Застигнутые врасплох. Не подготовленные, не защищённые. А он все смеялся. До слёз. Махая рукой.

– Что я говорю, Ма-ша-а! – шипели, прыскались со смехом слова.

– А что ты говоришь, Стёпа? – наливала из заварника Марья Григорьевна.

– Нет, что я сказа-ал?! – обрывал он смех и снова ударялся им. А в сжавшиеся зрачки глаз его уже торопливо забирался страх. – Нет,**что** я сказал?!

– А что он сказал? – поворачивалась ко всем Марья Григорьевна с тлеющими щёчками. За вечер выпившая только рюмку. – Что он сказал? Митя! Коля! Что он сказал?..

– А ничего особенного! – выкатил глаза Николай Быстренко. По всегдашней привычке своей их выкатывать. И словно слушать ими. Прошлое ли,настоящее ли… – А ничего особенного! Я могу продолжить цитату. – И продолжил. И оборвал её. И снова слушал. Слушал словно глазами. И отрезюмировал коротко: – Гениально! – И повернул глаза к Качкину: – Не так ли,Афанасий Самсонович?

Качкин поперхнулся, сглотнул, поспешно поддержал Быстренку: конечно, конечно! какой может быть разговор! Гениально! Гениальнейше! Да все и подтвердят! И все загалдели, наперебой подтверждая.

– Ну, вот видите, Марья Григорьевна! – повернулся к ней Быстренко.И подвёл итог: – Все и подтвердили! – Строго оглядел коллег. Стал подниматься из-за стола. И все с облегчением тоже начали вставать, отодвигать стулья.

Началась суета, стеснённость, толкотня прощания. Марья Григорьевна металась, одаривала какими-то кулёчками, свёрточками: с яблоками, с печеньем, ещё с чем-то, на неё в ужасе махались руками («Что вы! Что вы! Зачем?»), а она всё равно совала, настаивала.

К оскандалившемуся юбиляру подходили проститься. С виноватой улыбкой Степан Михайлович держался за спинку стула, исподлобья поглядывал на очередного говорящего. Честно выпучивая глаза, говорящие жали ему руку. Но почему-то торопились скорей выйти из комнаты. Кучей теснились к выходу, таща за собой неотвязчивые стулья. А весь вечер неуклонно косеющий Кропин стоял у дверей и страстно,как апостол у своих учеников, выискивал в каждом скрытый изъян, червоточину, запрятавшуюся болезнь, которую он, Кропин-апостол, просмотрел, прошляпил и не знает теперь, в ком она сидит, кто – Иуда…

И выкатывались гости из дому на поляну в высокий лунный свет, выдернув за собой и Кропина. И бежали со смехом к колымаге Качкина занимать места, где сам Качкин, на удивление ожесточаясь, уже крутил, рвал в передке заводной рукояткой… Поехали, наконец, высовываясь из окон и махая. И зависало унылое авто Качкина в тяжёлой чёрной нерешительности на бугре, готовое ринуться назад, к даче, и Качкинсудорожно колотился со скоростями, переключал, передёргивал. И авто, пересилив себя, поборов, тяжело перевалилось на дорогу.

Кочерга стоял возле стекающей лунной берёзы. Сквозь сорочку чувствовал на плече слюну сладко спящего Андрюшки. Говорил растроганно жене: «Я рад, Зина, что мы остались здесь… А ты рада?» Зинаида передёргивалась. Вся она, ну прямо-таки вся без остатка, была сейчас там, на бугре, в кустах, с чёрно переваливающейся колымагой Качкина.

Стоя впереди, Воскобойниковы махали и махали. Начинали было кричать отъезжающим, но те были уже далеко, не слышали, и муж и жена по-стариковски роняли на землю остатки фраз, как старые лошади пену…

Кочерга и Зинаида сидели на разных концах тахты. На середине тахты, точно брошенный ими, точно неизвестно чей, валялся спящий Андрюшка. Отвернувшись от мужа, Зинаида зло расчёсывала волосы. Словно стремилась освободиться от них. Сорвать с себя. Перехватывая рукой, зло била гребнем. Кочерга смотрел на летающие волосы, на длинную белую мучительную спину, переходящую в два тугих шара ягодиц… смотрел и видел во всём этом тысячелетнюю, непоборимую, роковую власть-стервозность женщины. Нутром чувствовал, что всё это не его уже,чужое, хоть что он сделай сейчас, хоть свет весь тресни на части! С тоской,со звериной тоской стенал: «Ведь так дальше нельзя! Зина! Надо уйти от Наркома… Он же отравляет всё, к чему ни прикоснётся. Всё!.. Забил жену.Тебя, дочь свою, науськивает на зятя, внука дрессирует по своему подобию-рылу. Он же самодур. Распоясавшийся самодур. С партийным билетом в кармане. От него же смрад в семье, гибель! И ты… ты…»

Ему тут жежёсткобыло сказано, что он, Кочерга, ногтя не стоит Наркома. Ногтя! И потом – что это за «Нарком» постоянный? Вообще, что это за постоянный издевательский – «Отставной Нарком»? Если в любящей семье, между любящими людьми есть какие-то шутки, какие-то ласковые прозвища, – то всяким проходимцам повторять их? Повторять, переиначивать, издеваться?.. Да по какому праву? Надо заслужить это, заслужить! Надо знать свой шесток, уважаемый сверчок, и не пикать! н-не пикать!

Она вскочила, хватая своё, ринулась в соседнюю тёмную комнату.Как голая змея свой выползок – удёргивала за собой сухой пеньюар. Хлопнула дверью.

Кочерга лежал. Закинув голову. Дышать было нечем… Сунулся к лампе, к столу. Хищно пил из графина воду. Вернулся назад. Старался не смотреть на лицо спящего Андрюшки. Осторожно освободил его от простыни.Снова напустил её на мальчонку. Задул лампу. Лёг.

Сверху всё время слышался топоток ног. Какой-то сам себя пугающийся сначала, замирающий. А потом – разом множащийся.Шла словно быстренькая паническая работа. Что-то двигалис места на место,слышалисьширканья по полу. Словно торопились, что-топрятали. Натурально заметали следы. Веником… Но всё это почему-то Кочерге не мешало. Происходящее наверху подсознательно даже как-то успокаивало. Как успокаивает торопливенькая ночная беготня мышей: живут, значит, ещё, жив, значит, и я. И когда вдруг стало тихо, тихо разом – в испуге вывернул голову к потолку, подкинувшись на локоть, вслушиваясь… И почти сразу же по занавескам двери запòлзал свет, и на пороге возник Степан Михайлович.

Стоял, оберегая рукой свечу. Молчал. С лицом – как разбитая церковь… Хотел спросить что-то и… и отвернулся. Точно оставил от себя вскочившему Кочерге только свечу, которая задёргалась, затряслась, капала стеарином, сгорала.

Кочерга поймал свечу, обнял Степана Михайловича. Тот сразу обхватил ученика обеими руками. Маленький,сжавшийся, словно прятался в Кочерге, спасался, захлёбываясь слезами:«Яша, милый Яша!.. Ведь я же… ведь я… ведь я же погубил вас… всех погубил… ведь я… я… погубил, понимаешь, погубил! Яша!..»

Возвышаясь над бедным Степаном Михайловичем, размахивая за его спиной свечой, Кочерга страстно уверял кого-то… что всё это ерунда, болезненная мнительность, что он, Кочерга, верит каждому, ручается, головой ручается за каждого!.. Свеча сажно чадила в его руке, капая стеарином, сгорая.Кочерга словно заселял, катастрофически закидывал ком-

нату выплясывающими чертями. Везде метались тени от них. Стеарин заливал, жёг кулак, но Кочерга не чувствовал этого, всё убеждал кого-то маньячным шёпотом, чтоне может такого быть, чтобы за несколько слов, всего за несколько слов, сказанных в шутку, ведь это же понятно, что шутка была, шутка!..

8.Абрамишин женился!

Из заснувшей руки выскользнула на пол книга. Новосёлов вздрогнул. В голове его, словно в каком-то отстойнике, сразу тупо означился запах керосина. Постоянного теперь в комнате керосина.

Тяжёлая железная створка окна стояла открытой. Длинная тюлевая занавесь между штор поколыхивалась, но свежий воздух после недавнего дождя, казалось, в комнату не шёл.

Завозился в замке ключ. «Открыто!» – крикнул Новосёлов. Слышно было, как Абрамишин снимал, отряхивал в прихожей мокрый плащ.

Поздоровавшись, он поводил во все стороны носом. Показывая, что принюхивается. Как бы говоря: да-а. Привычно, двумя руками, прокинул на заголившуюся лысину сырую мочалку волос, упавшую за ухо. Выдернул из-под своей кровати жёлтый кожаный чемодан, присел к нему, начал расстёгивать ремни. Хитровато поглядывал на Новосёлова. Его явно что-то переполняло. Он уводил, прятал улыбку.

– Даже ради того, Саша,чтобы навсегдазабыть запах керосина, забыть клопов и тараканов… стоит жениться… Что я и сделал.

Новосёлов начал с удивлением подниматься на кровати. Человек этот с торчливыми глазами рыбы поражал его всегда своей неимоверной хитростью и… глухой какой-то, непрошибаемой глупостью. Наивностью. И как в пику глупости – все хитрости его были ради самих хитростей. Он точно коллекционировал их. Он городил их где надо и не надо. Он числился по лимиту в их Управлении, работал же – в каком-то НИИ. Чтобы разом, накрепко зацепиться в Москве, везде, лет пять назад, навтыкал**букетов** (взяток). Почтиво всех районах Москвы. А толку до сих пор не было. Более того, его всё так же стригли, теребили, у него всё так же требовали. Хотя в самом начале нужно было дать Одинбукет, и он знал где и кому… Он постоянно прикидывал, вычислял, хитрил. А получалось – всё на свою голову. Это однако не угнетало его, напротив – подстёгивало – он загорался…

Как и Новосёлов, был он из какого-то заштатного городишки. Орска,кажется. Еврейская большая семья. С родственниками и родственниками родственников. («И все в старом двухэтажном доме на окраине, Саша… Так и бегают, так и бегают целый день с этажа на этаж. И взрослые, и дети…») Он смеялся. Он хорошо подготовился к Москве. Ему было сорок лет. Двадцать из них он прилежно работал. Не курил. Естественно, не пил. У него имелись деньги. Он был очень скрытен. Однако скрытен почему-то в мелочах. О главном же своем, о чём лучше бы помалкивать – не выдерживая, рассказывал. Он постоянно раскрывался. Он говорил, поглядывая по сторонам: «Вы знаете, Саша, кто в нашем отделении милиции берёт?» При этом глаза его начинали фанатично сверкать. Он был словно весь увешан «букетами». «Не догадаетесь. Ни за что!» И дальше следовал подробный рассказ о берущем. Вплоть до хобби фигуранта, до его привычек, до слабостей-привязанностей. Новосёлов в сердцах восклицал: «Да зачем вы мне-то говорите всё это? Михаил Яковлевич!» – «О, вам мне можно говорить, Саша,вам мне можно…» – «Да почему же?!» – «О, вы далеко пойдёте, Саша, очень далеко…» Логики в его словах не было никакой. Он был фанатик, коллекционер.

И ещё. Тоже главное его. Может быть, главнее первого главного, первой мании – его женщины… Случайно Новосёлов и Серов увидели однажды,как он вручал своей даме мороженое. В центре, у кинотеатра повторного фильма. Именно – вручал.Старомодно. Согнувшись в угол. Как в каком-нибудь фильме начала девятисотых годов. Точно выйдя из кинотеатра вот этого самого. Из кинотеатра повторного фильма. А заметив, что за ним наблюдают знакомые (Серов и Новосёлов) – тут же подхватил даму под руку и**увёл**её. Именно – увёл. Сделав с ней быстрый небольшой кружок на тротуаре. Тесно слившись с нею, мельтеша ножками… И всегда так старомодно уводил. С предварительным стремительным кружочком на тротуаре. Уводил как

потаённую улыбку свою. Как потаенный свой фетиш. И женщин было много. И женщины были разные. Одинаковые только в одном – все некрасивые. Безвкусно, немодно одетые. В каких-то толстых юбках, в жакетах с горбатыми швами. Какие-нибудь филологички или работницы сберегательных касс. Вконец осолодевшие от одиночества. И он уводил их так, открывая имБрильянты Новой Жизни.Осчастливливал…

Часто после свиданий он – опять-таки не выдерживал: «Знаете, Саша, сегодня в конце она тряслась как берОзка. Как слепая берОзка. Как гибнущая слепая берОзка. Да». Видя новосёловское восстающее, не вмещающееся в комнату возмущение,– хлопал, хлопал себя по рту, по губам: «Молчу, молчу!» И хихикал, и хихикал. Его переполняло поэтическое. Ему не с кем было поделиться им. Он был поэтом в своем деле.С большой буквы Поэтом.

«Он их объедает»,– удручённо сказал Серов в тот раз, когда Поэт заделывал на тротуаре с дамой свой кружок. Заделывал, как трепетненький свой, сексологический мирок. Который тут же и увёл скорей от сглаза… «Точно.Объедает… Альфонс из Орска…»

И вот этот человек – женился… Ну что ж, дай бог, как говорится. Новосёлов от души затряс ему руку.

– Сделка, сделка, Саша, не более того, – останавливал его Абрамишин, потупив торчливые свои глаза. Стал застёгивать ремни на чемодане: – Мамаша. Москвичка. Прожжённая. Из характ*е*рных. Вы понимаете? Дочь – студентка. Девятнадцать лет. Замуж не собирается. Пока. Словом, умные люди. Не надо никаких стипендий.

Та-ак. Очередной букет… А Абрамишин уже словно бы извинялся.Улыбку уводил от Новосёлова опять как свою даму. Ну что ж, тогда, может быть, чаю? Можно и чаю. Пили густой крепкий чай. Пили молча. Как-то формально. Словно присев на дорожку. Занавесь в окне поколыхивалась.Словно поглощала призрачный жёлтый свет после дождя. Абрамишин всё покачивал головой, оглядывая комнату. Точно никогда и не жил в ней. Вырвал из записной книжки листок, что-то написал. Оставил на столе. Ну, вот и всё.

Возле лифтов, вмяв все три клавиши… не удержался-таки:

– И всё же, Саша, я бы с вашей внешностью… в таком клоповнике… – и, увидев, что Новосёлов повёл к потолку моргающие, еле сдерживающие смех глаза, мгновенно успокоил его: – Молчу, молчу!

Спятился в разъехавшуюся дверь. Опустив голову, стоял в чемодане лифта с чемоданом в руках. Словно чуть приоткрыл тайную жизнь свою в этом искусственном параллелепипеде. С улыбкой, как даму, увел её вниз вместе с лифтом.

На вырванном листке был номер телефона и приписка: «Этот телефон,Саша, на случай моих родственничков». Оборот «на случай моих родственничков» бил по глазам. Новосёлов бросил бумажонку обратно на стол.

Пришёл Серов. Увидел лежащего Новосёлова с закинутой на руки головой, его хмурое лицо, словно разом понял причину – взял бумажку со стола…

– «На случай… родственничков»… Как от наводнения, от пожара… И этого мерзавца весь куст поднял к небу! И сейчас держит. Трещит весь, гнётся, но держит милого Мойшика… А? Саша? Вот она благодарность людская. В чистом виде…

Он сел. Надеясь на дискуссию. Но Новосёлов молчал. Крякнув, Серов выдернул несколько сигарет из пачки на столе, пошёл к двери.

А Новосёлову виделась уже далёкая вечерняя пристань его городка.Виделась мать на той пристани, стоящая с покорно опущенной простоволосой головой, освеченной закатным солнцем…

Прощались в то первое расставание перед отъездом в Москву возле вечернего пустого дебаркадера, к которому ужесплывал по течению речной белый «Сокол».

Пойманной рыбёшкой горели, бились под солнцем блики на перекате.И словно поджигалась там вдали и вспыхивала упавшая прядь материных волос… Робко повернула тёмное

провалившееся лицо: «Может, не поедешь, а? Сынок?.. Что тебе там?.. Отец бы не одобрил…» Сын торопливо курил. Затянулся последний раз, бросил окурок. «Пора,мама…» Обняла его, высокого, одной рукой. И лозой сползала по груди, зажмурившись, запоминая,плача…

Потом смотрела на ч*у*хающий по течению катер, где на верхней палубе стоял её сын, увозя с собой резко вспыхивающие колючки солнца…

9. Как назовём младенчика?

«…Не нужно ничего, Константин Иванович, незачем это, незачем!» – твердила и твердила Антонина, хмурясь, еле сдерживая себя. Зачем-то толкла на коленях молчащего Сашку. А тот выпускал грудь на время, недоумённо вслушивался в тряску и снова, поспешно выискав, хватал грудь ртом. «Но как же так, Тоня? Человеку четвёртый месяц пошёл, а ты…» Константин Иванович ходил по комнате, взволнованный, красный. На нём был выходной костюм, привезённый специально с собой и почищенный сегодня утром бензином, взятым у Коли-писателя. «Тоня, ведь я хочу этого, я. Сам… Неужели откажешь мне в этом?» – «Сама я! Сама! – чуть не кричала Антонина. – Незачем!..Не запишут там, понимаете! Не запишут!..» – «Ну уж не-ет, извини-ите. Нет такого права… Отец я, в конце концов, илинет?»

Тоня с полными слёз глазами смотрела на него, покачивая головой.Смотрела как на сына – бесталанного, жалконького. Отворачивалась, кусала губы, плакала. Он понял, что уговорил, обрадовался: «Давай, давай, Тонечка,докармливай – и одевать Сашку, да потеплей. И пошли, пошли, до конца работы успеем». – «Вы бы тогда хоть ордена надели… Раз уж так…» – «Надену,надену. Не ордена, правда. Вот планка моя. Орденская… Прихватил…»

Тоня головой потянулась к нему, он бросился, прижал, гладил мокрое лицо…

В плоской раскинувшейся комнате, похожей на вечернее пустоватое правление колхоза, холодной и продуваемой настолько, что даже стёкла окон не принимали мороза и зябли чистенько, нетронуто – у бревенчатой стены работали две делопроизводительницы. От одежд и холода встрёпанные и смурные, как кочерыжки. Вдоль простенков и окон, запущенные для тепла, как на тихих посиделках стеснялись посетители. Были тут и мамаши с младенцами, и старухи, завёрнутые в чёрное, и родня с женихом и невестой.

К столам подбегала девчонка лет шестнадцати. В дедовых пимах, в бабкиной великой кацавейке. Быстро убирала, подкладывала женщинам такие же, как они, встрёпанные книги. Канцелярские. Женщины, взбадривая себя, подстегивая, постоянно выкрикивали: «Жилкина – метрическую!..Жилкина – смерть!.. Жилкина – на брачную!»(Казнь, что ли?)

– Следующий! – стегало то от одного, то от другого стола. И к столам торопливо подходили, присаживались на краешек стула и сразу начинали или плакать, или показывать младенца, или стоять пионом и ромашкой в трепетно радующемся букетике родни.

– Следующий!

И опять быстрая пересменка у стола, и: или слёзы в горький платок,или младенец, или пион и ромашка. Жилкина металась, меняла, подкладывала книги…

Раздевшись в ледяном коридоре, быстро накидав расчёской копну из чудных своих волос, одёрнув пиджак с орденской колодкой, Константин Иванович принял младенца и сказал Антонине «сиди!». Широко распахнул дверь, как сделал глубокий вдох, и с сынам на руках пошагал в комнату. И вошел в неё— точно отчаянный вестник, как всё разъясняющий момент пьесы, после которого зрителям только ахнуть: вон, оказывается, в чём дело-то было! Вот это да-а…

– Почему дед принёс? Где родители? – строго спросила у девчонки одна из кочерыжек. Как будто та – в ответе. Жилкина, раскрыв рот, воззрилась на Константина Ивановича: да, почему?

– А я и есть родитель! А я и есть отец! – по-прежнему отчаянно объявлял Константин Иванович. – А это… и есть мой сын! – Он поднял, показал всем аккуратный сверток, в окошке которого виднелась насупленная мордочка Сашки. – Так что… прошу, как положено!

Он подошёл к столу. Без приглашения сел. Поправил в кружевной дырке. Вытаращенным глазом Сашке подмигнул. Тот даже не пикнул.

– Где… мамаша? – поперхнулась делопроизводительница.

– Там… – мотнул головой Константин Иванович. – В коридоре… Позовите…

– Жилкина!

Жилкина побежала.

Антонина шла к столу, роняя и подхватывая одежду Константина Ивановича. Шапку его, полупальто, шарф. На стул так и села с ворохом одежды.

– Вот… Она… – опять мотнул головой Константин Иванович. Точно в сторону просто присоседившихся. Которых пока что приходится терпеть.

Выкинул на стол паспорта, справку из роддома. Небрежно. Будто козырными раскрыл.

– Так и запиш*и*те: отец – Новосёлов Константин Иванович!.. Ну и её…– снова кивок головой в сторону, – припишите… – И затолок заоравшего наконец-то Сашку. А Антонина смотрела на мужа и только чуть руки над ворохом одежды поднимала: каков!

Делопроизводительница… словно с удовлетворением вернулась в себя (всё понятно), выползла из одежд на стол, приготовилась писать и с выглаженностью змеи в движениях… спросила:

– Как назовём младенчика?

– «Как»… Сашкой его зовут… Давно уже… – Константин Иванович хмурился. – Александром Константиновичем… Так и запишите!

10. Чернильно-фильдекосовый и его подчинённые

После короткой, сокрушительной пропесочки в автоколонне за вытрезвитель (сдёрнут разом был с тринадцатой, с летнего графика на отпуск, на три месяца в гараж – слесарить!) у Серова, что называется, кости затрещали от трёх этих кинутых на него мешков, в глазах потемнело, но встал, распрямился, перевёл дух, поблагодарил собравшихся за науку. И особеннонашего дорогого товарища Хромова. Нашего многоуважаемогоначальника автоколонны! «Не юродствуй, алкаш!» – прогремел тот из-за красного стола на сцене. Сидящий один. Как-то гораздо выше всего. И стола, и сцены. И всех внизу, в зрительном узком зальце клуба. «Всё! – прихлопнул по столу. – Лавочка закрыта!»

Остро, по-звериному Серов ощутил, что попался, что обложен со всех сторон, что дальше некуда, предел, дошёл до ручки, но…но короткая эта,минутная, единоличная расправа Хромова над ним… била больше понимания вины, сильнее всех осознаний её, душила сейчас почти до обморока. Га-а-ад!

Он даже забыл про стыд, когда шёл за всеми, поспешно прессующими, прячущими злорадство своё, жалость свою в клубных тесных дверях…

Дома увидел заплаканное неузнаваемое лицо жены. Увеличенное лицо лошади. Зависшее в пространстве комнатёнки возле стола. И под этим лицом,тесные и тихие, как цветки, поматывались над раскуделенными своими куклятами Катька и Манька… Шагнул в ванную. Под шум воды сидел, вцепившись в край ванночки, покачивался. Собравшись быть здесь вечно. Ни за что не выходить!..

Ночью на полу возле стола глаза его серебрились, как лягушки. С кровати смотрела жена. Откидывалась, под голой рукой катала голову. Как попало, точно переломанные, разбросались на кушетке Манька и Катька…

Завгар Мельников, подмигивая своей банде, ставил Серова на грязнуху. С четвёртым разрядом Серов мыл ходовую часть и коробки передач. Иногда доверяли карбюраторы.

Карбюраторщица, сопя, разглядывала поданный карбюратор – как разглядывают в руках брезгливые повара непромытые почки. Серов косо смотрел в сторону.

Когда оставался дома один, перед работой во вторую – упрямо пытался дописать рассказ… Концовка не давалась. Всё было не то, не так. Хотя и написал предварительно план. И вроде бы всё в нём продумано, выстроено.Логично. Но нет – никак.

Клал голову щекой на рукопись. Лежал с растёкшимся взглядом.

Заставляя себя, пересиливая, ехал в центр, под плащ надев выходной костюм и галстук. Возле кучки торфа на сыром дымящемся пустыре всё так же работал белоголовый человек в телогрейке. Точно и не уходил никуда за эти дни. По-стариковски щадя себя, чуток только осаживаясь, набирал в лопату. Прицельно кидал. Покидав минуту-другую, зависал на лопате, оглядывая работу. Снова щадяще осаживался с лопатой. Кидал… Серов бросил окурок, откинул внутрь стеклянную дверь.

В который раз уж он приходил к ним в редакцию, в который раз видел взвешивающиеся жиденькие линзочки очочков Зелинского, видел, как, узнав,тот поспешно кладёт вставочку на чернильницу и аж потрясывается весь, развязывая тесёмки на его, Серова, папке, перед этим мгновенно выхватив её из стола… в который раз видел это – и всё равно становилось муторно, тошно.

Сидел у стола, ждал. Над столом, в чёрненьком удушье нудно висело сравнение всего этого с зубной болью. С ожиданием её.

– Вот вы в очередном своем опусе, которым осчастливили нас, пишите, Серов… «Длинношёрстная, лёгкая сука бежала прямо-боком-наперёд»…Мм?

Над прозрачненькими стекляшками стояли фильдекосовые глаза.

– Что же вы, Геннадий Валентинович, только это и вычитали из всего рассказа?

– Нет, вы нам объясните, Серов, как это можно бежать: прямо… боком… да ещё наперёд!

И он словно начал крутить рули очочков вправо. К ещё двум сотрудникам отдела прозы. Склонённым над бумагами и солидарно поматывающим головами: ну, Серов! Выдал опять, с ним не соскучишься, нет!

Серов вскочил.

– Вот, вот как бегают собаки прямо-боком-наперёд! – Нагорбившись, он мелко пробежал прямо-боком-наперёд. Мельтеша руками как лапками. – Вот, вот, если вы не видели никогда!

Сотрудники непрошибаемо, самодовольно смеялись. Серьёзный Зелинский протирал очки. Крутил слепой, как оскоплённой, головой.

– Пишите просто, Серов. «По огороду бежала сука…»

– По какому огороду?

– Ну, по дороге там… По деревне… Не знаю как у вас там!

– Да ведь скучно это всё, скучно. Муторно! Все эти очерки… жалкие фотографии… все эти синюшные трактаты с потугой на философию. Вся эта дутая значительность, фундаментальность, где всё художественное (художественность) на уровне «искринок в глазах», этих, как их?.. «теплинок», «печалинок»… «Придуринок!»… А? Ведь всё затерто давно. До дыр, до мяса, – выталкивал Серов давно назревший манифест.

Его с презрением прервали:

– Когда нечего писать – пишут х-художественно! – И снова поставили ему фильдекосовые глаза с дрожливенькимиподбутыльицами: – С цветочками, с виньетками, с благоуханием!

Уже откровенно – сотрудники ржали. Один с настырным деревенским чубом, до укола похожим на новосёловский, другой – с замятым мочалом на треугольном, можно сказать, интеллигентском черепе.

Серов дёрнулся к столу с намереньем схватить папку. Зелинский рукой руку Серова отстранил. С «прямо-боком-наперёд» это, конечно, только разминка. Главное впереди. Он раскидывал листки на столе, близоруко внюхивался в них, находил и победно вскидывал очочки к Серову – требуя «объяснить». Серов ходил, защищался, начинал горячиться, спорить и даже под давно закаменевшими висюльками Зелинского, под тяжёлым хохотом от двух столов, упрямый, глупый, не хотел никак понять, что рассказ его, собственно, давно убит, изничтожен. Зарезан… Литераторы умолкали. По одному. Злились на бестолкового.

Серов начал сгребать со стола листки. Понёс их, как побитых птиц.Загораживал собой на свободном столике у двери…

– Не обижайтесь, Серов. (Серов молчал.) На обидчивых воду возят…Мы с вами работаем… Приносите другое… – Чернильно-фильдекосовый вернулся к своим бумагам, начал любовно макать вставочку в чернильницу. Как бы напитываться чернилками. Он – Чехов и Бунин сегодня! А заодно и – Белинский с Чернышевским! Не меньше!

На воздухе, бросив за собой дверь, Серов кинул папку на скамью.Опять жадно курил, выставив избитые глаза дымящемуся пустырю.

Возле белоголового старика была уже новая, будто с неба скинутая ему кучка. И он покорно ковырял её, словно Богом назначенный нескончаемый урок.

Поздно вечером, выглотав с кем-то просто тёмным бутылку в подъезде, Серов, маньячно фонаря, разглагольствовал у Новосёлова. В его комнате.Почти без перерывов дёргал из сигаретки. «…Ведь все эти зелинские… все эти… Там, кстати, сидит один. На тебя похож. Чубом. Вы с ним из одной деревни. К слову это. Да. А если серьёзно: ведь кто сидит по редакциям,

Саша?Кто пробавляется от рецензий? Неудавшиеся писатели. Они сами не могут опубликоваться. Несчастные, жалкие люди. Измученные завистью. Профессионально, навечно. Измученные своей графоманией. Маниакальностью.Тоской. Разве такой Увидит, Разглядит? Он заранее предубеждён.Стоеросов. Полосат. Он же шлагбаум!.. Ну ладно, на переезде, ладно – поезд может пройти. Нужен, необходим. А этот-то выскакивает где угодно. М-минуточку! – и руку стоеросово на десять метров поперёк!.. Обойди такого…»

Новосёлов хмурился. Глядя на Серова, вообще на таких как Серов, он почему-то всегда вспоминал… падающие бомбочки… У них это было, в городке. Когда затор бомбили на Белой. В раннем детстве… Поразило его тогда— как падали бомбочки. Казалось, они на лёд будто садились. Как утки на воду. И через долгую секунду слышались глухие вспарывающие удары. И затор, как вредный старик, передёргивался. А самолёт уже зудел, разворачивался на новый заход. И снова – будто просто трепетливые утки вместо свистящих бомб… Новосёлову часто виделось такое несоответствие между падением и приземлением… Он смягчал удары…

Серёжа… почему ты пьешь?.. – нужно было, наконец, спросить только об этом одном. Прямо. Глядя в глаза… Вместо этого Новосёлов долго, трудно говорил, что не надо было уходить с работы, даже во вторую, о собрании, где разбирали Серова за вытрезвитель, что Хромов, Мельников в гараже, сам знаешь…

Серов уводил ухмылки, презрительно хмыкал: Хромов! Мельников!..

Через час, протрезвевший, злой, дома он опять увидел лошадиное лицо, опять как большой муляж вывешенное в пространстве комнаты. Ну сколько ж можно!.. Снова прошёл в ванную. В туалет. Сидел на краю ванночки, покачивался. Среди пламенных приветов как бы от тёщи. Розовых, голубых. Неистребимых на верёвке. Вечных. Виноват был весь мир. Виноваты были все. Кроме него, писателя-пьяницы Серова. Ды чё-орыный во-о-орын! Э-ды чё-о-орный во-о-оры-ын! В дверь застучали. Заткнись! Дети спят!..

11. Всё началось с собаки Джек

…До пятого класса Маленький Серов учился только на пять. Был послушен, аккуратен, прилежен. В запоясанной его обширной гимнастёрке ножки в брючках побалтывались как язычки, подвязанные в колоколе. В свободное время он кувыркался в гимнастической секции, был приведён и записан матерью в две библиотеки, два года во Дворце пионеров точил упорно ракету…Всё началось с Джека. С собаки Джек. Джек оказался закоренелой дворнягой. Но, видимо, получил благородное воспитание, потому что у него была личная тарелка. Да, железная тарелка, бывшая когда-то эмалированной, мятая и оббитая сейчас до щербатин, до обширных чернот. Он сидел под старым, вросшим в землю буком, на тротуаре, в прозрачном к*о*пящемся солнце от заката, с этой тарелкой, как нищий с кепкой. Самозабвенно закатываяглаза,вылаивал одиночным прохожим свою старую, собачью, израненную душу.Прохожие как натыкались на него. С какими-то пугающимися оглядываниями, хихикая, точно разыгранные кем-то, пятились и торопились дальше, покачивая головами: да-а… А пёс всё лаял, взывал… Откуда он появился тут?Откуда пришёл сюда, в эту тихую, в деревьях, схваченнуюсейчас закатом улицу? Маленький Серов никогда не встречал его здесь… Какой-то дурак сыпанул ему семечек и долго хохотал, уходя, наблюдая за унылой мордой пса,устало нависшей над этими дурацкими семечками… Маленький Серов простукал по булыжнику через дорогу и сказал: «Чего лаешь? (Подумал, как назвать.) Джек? Пошли!» Джек тоже подумал. Подхватил тарелку и пошёл за Маленьким Серовым. Можно сказать даже – броско, трусцой побежал, но скоро перешёл на переваливающийся шаг, устало капая голодной слюной с тарелки…

Маленький Серов жил на втором этаже тяжёленького, бывшего купеческого кирпичного дома, где на первом и сейчас был маленький магазинчик и парикмахерская. Двора у дома не было. Тёмная лестница скатывалась со второго этажа к расплюснутому свету в низких дверях, раскрытых прямо на улицу. Проснувшись рано утром, Серов сразу подбежал к окну. Джек был на месте, спал на тёплом, уже осолнечненном булыжнике тротуара, через дорогу, у стены дома, рядом со своей тарелкой. А через час, выставив тарелку, лаял, собрав небольшую толпу. «Цирк какой-то!» – нервно передёргивались у окна Мать и Дочь. «Его Джеком зовут! Джеком!» – бегал от окна на кухню, где варил кости, Серов. «У него умер, видимо, хозяин», – торопился с кастрюлькой к двери. Дочь и Мать хмурились. Они не узнавали Маленького Серова.

Маленький Серов копил на велосипед. Он хотел гоночный. С рогатыми рулями. За каждую пятерку Мать и Дочь выдавали ему по пятнадцать копеек. Программа была рассчитана на четыре года. К окончанию десятого класса. Маленький Серов стал отчекрыживать от школьных завтраков. На кормёжку Джеку. Был быстро уличён, натыкан в контрольные цифры. Отруган. Мать и Дочь стали сами вносить за завтраки. Еженедельно… Тогда Серов стал отсчитывать монетки от накопленного… «Когда этот Джек уйдёт? – тяжело, как про человека, начинала Гинеколог. – Я тебя спрашиваю!» «Уйдёт…» – опустив глаза, тоже как про человека, говорил Серов. Собирая в кулачок всю волю, обходил Гинеколога как тёмную накаленную тумбу. Спешил в кулинарию. За куриными головами. Джеку нравился суп с куриными головами, и это было дешево. «Ты завонял тухлятиной всю квартиру!.. Уйдёт он или нет?!» – «Уйдёт…»

Теперь Джек был сыт. Но по-прежнему почему-то продолжал свой аттракцион, всё так же лаял над тарелкой, собирая людей. И всё всегда было одинаково, люди сначала хихикали с лёгким испугом, потом, посмеиваясь, шли своей дорогой. А Джек всё тоскливо взывал к ним. И Маленькому Серову становилось почему-то уже нехорошо, неудобно за Джека. Стыдно. Нужно было как-то увести его с тротуара. Чтобы он жил хотя бы в подъезде. Чтобы не лаял он больше,

не плакал, не просил… Из старого одеяла, данного соседкой, Маленький Серов сшил тюфячок. Мягкий, тёплый. Вынес его на лестницу, постелил возле своей двери. Сбоку. Приведённый Джек выпустил тарелку, обнюхал тюфячок и лёг, покойно расправляя лапы, положив голову на них. В этот день он не лаял. На другое утро, содрогаясь от злобы и отвращения, половой щёткой Гинеколог начала надавливать, начала шпынять мягкого спящего пса. Джек вскочил, подхватил тарелку, бросился к лестнице. Выпущенная тарелка гремела, скакала впереди него по каменным ступеням вниз. Следом полетел выпинутый тюфяк… Маленький Серов постелил тюфячок на тротуар у стенки дома, где и было место Джеку. А это уже был вызов. Вынесенный на улицу. Получалось, что Джек обзавёлся хозяйством – тюфяк у него тёплый, тарелка. Что всё это надолго. И напоказ. Да и сам к тому же, глупый, не теряя ни минуты, начал петь прохожим – своё, жалостливое… «Это невозможно! Это ад! Ужас!» – ходила, цапалась за виски Дочь. На диване красно сопела Гинеколог.

Вечерами Маленький Серов и Джек, стараясь не смотреть на окна напротив, прогуливались вдоль дома, где нашёл пристанище Джек. Маленький Серов ходил, удерживая руки за спиной. Джек удерживал зубами тарелку, как, можно сказать, шляпу. О чём-то разговаривали… «Нет, это невозможно, невозможно! – ходила, стукала кулачком в кулачок Дочь. – Он позорит нас, позорит! Мама! Откуда такое упрямство, откуда!» «Успокойся, Элеонора. Я позабочусь об этом Джеке!» Гинеколог знала уже, что делать.

Ещё издали Маленький Серов почувствовал неладное. Отброшенная чашка Джека валялась у стены. Собаки рядом не было. Серов побежал. «Джек! Джек!» Метнулся к подъезду. «Джек! Джек!» Запрыгал по ступенькам лестницы. «Джек!» Спускающаяся соседка остановила его, быстро зашептала:«Не ищи своего Джека, Серёжа. Санэпидемстанция была. Бабушка твоя привела. Усыпили. Увезли». Серов, как немой, мотал головой, не веря. «Ну усыпили, понимаешь? Кинули мяса, и он уснул… Хорошо хоть не из ружья…»Видя, что мальчишка весь напрягся и задрожал, быстро успокаивала: «Ну,ну, Серёжа! Будут у тебя ещё собаки, будут!» Поспешно стала спускаться вниз, к свету. Просвечивалась, оступалась кривыми чёрными ножками… Маленький Серов оглушённо сидел на верхней ступеньке. Портфель валялся на середине лестницы. От света в подъезд вмотнулась какая-то личность. Стояла в тёмный загнутый профиль, покачивалась, расстёгивала ширинку. Точно ударяясь, пыталась опереться на гнущийся сверкающий прут… «Гадина!» Маленький Серов плакал. «Гадина!»…

Через неделю Гинеколог втащила в квартиру велосипед. Топталась с ним в коридоре, как корова с седлом, держа его по-бабьи неумело, не знала куда поставить. Велосипед был дамский, с защитной сеткой на заднем колесе.Маленький Серов ещё ниже склонил голову за столом. Дрожал, расплывался в слезах раскрытый учебник… «Иди, покатайся», – угрюмо сказала Гинеколог. Серов встал, повёл велосипед к двери. Так же вёл его по улице, не садился, не ехал. Закатил в городской парк. О ствол дуба бил, зажмурив глаза, подвывая, плача. С накатом, с накатом! С маху!.. Дома Серов стоял, опустив голову, удерживая в руках велосипед. Колёса свисали как ленты… «Та-ак…»– протянула Гинеколог. Ласково приказала лечь. Лёг. От ударов ремня дёргался на диване. И в исходящих слезах, в боли его вдруг начала выныривать истина. Истина! Да ведь боязнь всех этих взрослых – это боязнь своей свободы. Свободы! Ведь есть же она в тебе, есть. И ты – еёбоишься. Они же знают, что ты её боишься, поэтому и гнут, унижают, топчут. Да надо бить их велосипеды, ломать им всё, крушить! Да что она тебе может сделать, старая эта туша, больше, чем уже делает? Ну бьёт вот сейчас, бьёт! Так ведь и ответ скоро получит. Ну в колонию? Так убежать! Из школы? Да чёрт с ней со школой! Кто обрёл крылья, того не обломаешь. Не-ет. Пусть бьёт. Пу-усть. И ведь столько лет в плену был! Да

пошли они все к дьяволу! С дивана Серов вскочил другим человеком. Застёгивался. Слёзы бежали. Посмеивался. Отчаянно поглядывал на испуганного Гинеколога…

12. Дежурство Кропина

Как всегда пружинно, с удовольствием выкидывала себе прямые красивые ножки Вера Фёдоровна Силкина, прохаживаясь возле своего стола в своем кабинете. Ручки были сунуты в кармашки жакетика, плечики – остры.

– …Д-да! – делала она ударение на начало «да», – Д-да, Дмитрий Алексеевич, мы должны иметь точную информацию, мы должны быть в курсе, д-да! Вы, как коммунист, не можете не понимать этого. Д-да!

От неожиданности, наглости, от обыденной какой-то простоты предложенного Кропин только раскрывал и закрывал рот. Хлопал, можно сказать,ртом… Наконец заговорил:

– Почему вы… вы именно меня определили на роль фискала? Почему именно на мне остановили свой выбор? Вам… вам Кучиной мало? Сплетни?– Кропин уже рвал узел галстука. – Что же… у меня на морде, что ли, написана готовность к таким услугам?

– Ну-у, это вы уж!..

– Да, да! Почему?.. Почему вы привязались именно к этим парням?Этим двум? Из всего общежития?.. Ну, хорошо, один пьёт, хорошо, допустим, но другой-то чем вам насолил, чем?.. Вы знаете моё отношение к ним, особенно к Новосёлову… И вы – мне – такое предлагаете?.. Да это же… это же…

– В рамках, в рамках, Дмитрий Алексеевич! – Силкина перекидывала,хватала на столе бумажки. Словно блуд свой. Умственный, постоянный.Сладко мучающий её. Выкинуть его стремилась на стол, передоверить рукам,чтобы запрятали они его от Кропина в эти бумажки. Чтобы не видел он, не догадался… – Я ошиблась в вас. Очень ошиблась. Мне урок. Вы ведь чистенькими все хотите быть, без единого пятнышка, без соринки… – Руки блудили, блудили на столе. – Хотя в 37-ом…

– Замолчите! – Кропин ударил по столу кулаком. Вскочил: – Слышите!.. Вы в горшок ещё делали, уважаемая Вера Фёдоровна, в горшок, когда мы…

– А-а! – махнула рукой Силкина.

К двери Кропин шёл содрогаясь, дёргаясь. Как какая-то неуправляемая механика. С ходу споткнулся о порожек, снёс каблук. Хотел наклониться,поднять, но от стола пырнула ухмылка, и Кропин захлопнул дверь.

Шёл болтающимся туннелем, оступаясь облегчённой ногой. Как на ограде придурки, скалились люминесцентные лампы. Двери были одинаковы,без табличек. Все двери были как замазанные рожи. Кропин подошёл, застучал в одну. Дверь не открывалась. Открылись две с боков и три сзади. «Где у вас сапожник?» Заклацали замками. Хромал дальше. Туннель длинный. Ничего. Застучал. Грубо. Развесились. Опять с боков, сзади. «Где сапожник?» Поспешно закладывались английскими. Дальше шёл. Упрямо колотил. «Где сапожник, чёрт вас задери!.. Сапожник где?!»

В обед вяло ел, накрылившись над тумбочкой у высокого стекла.Опять водило у общежития длинную седую занавесь дождя. Бутерброд был тугомятен, сух. Буфетный, с кудрявым сыром. Кучина подсунула помидорку. Отмахнулся, не взглянув даже. Продолжал давиться бутербродом, изредка запивая его чаем. Увидел Серова, вышедшего из лифта. Сразу заспешил навстречу, отирая губы платком. Спросил о деле, о позавчерашнем разговоре. Обег*а*л взглядом отрешённое бледное лицо парня.

Серов молчал. Глядя на Кучину, на вахтовый стол, Серов невольно вспоминал, как Дмитрий Алексеевич пришёл сюда устраиваться на работу…Посадили его тогда между двумя старухами за этот вахтовый стол у входа. Старик даже не подозревал сначала, что посадили на подлую конкуренцию.Потому что кто-то из троих должен был уйти. Один или одна. Старуха,

что слева сидела, была до обеда недвижна. Как стул в чехле. После обеда первый раз хлопнула: «Дурак!» Старик испуганно повернулся к ней. Но увидел только закушенный рот. Будто закушенную тайну. Чуть погодя – опять: «Дурак!» Точно беспенный хлопок из бутылки с шампанским. Старик не мог понять, ему, что ли, это говорят? Сидящая справа приклонилась к нему и забубнила. И бубнила дальше не переставая. Через час старик беспомощно вскрикивал: «Замолчишь, а? Сплетня! Замолчишь?» А слева хлопало уже без остановки: «Дурак! Дурак! Дурак!» Как от попугая, слетевшего с катушек.

Кропин тогда победил. С Кучиной остался он. Однако глядя сейчас на неё, уже запрятывающую улыбочки свои, жестоко неразделимую, единую со всей этой железобетонной непрошибаемой общагой до неба… Серов с горечью только думал: зачем ты влез сюда, старик? Для чего?..

– …Ну, Серёжа? Говорил с Женей? Что решили? Ведь комната восемнадцать квадратов. В футбол можно играть. Жогин опять уехал на свои халтуры, только Чуша, аяк Кочерге… Давно зовёт. А, Серёжа?..

Серов боялся только одного – не зацепить старика перегаром. И принимая с потом проступивший стыд Серова за нерешительность, колебание,Кропин заговорил, как казалось ему, о главном для Серова:

– И платить, платить не надо, Серёжа. Так же всё будет – я сам. Я знаю, вам трудно сейчас. Потом рассчитаешься, Серёжа. Разбогатеешь, как говорится, – и…

– Нет, Дмитрий Алексеевич… Нельзя это… Не нужно…

– Серёжа, ведь я от души… Ведь ты тут…

– Не надо, Дмитрий Алексеевич… Прошу вас. Спасибо, но не надо.

Склонив голову, Серов двинулся к стеклянной коробке. На выход.

Кропин напряжённо сидел на своем стуле, пылал. Сплетня сунулась кнему, забубнила…

– Замолчишь, а-а? Замолчишь? – плачуще выкрикивал старик.– Сплетня!!

Пока поднимался последним тяжёлым лестничным пролётом к Кочерге, с улыбкой думал, будет ли сегодня выпущен кобелёк с чёрной челкой. Взобравшись, навесил на угол перил сетку с продуктами. Стоял на площадке, пустив руку по перилам, от удушья тяжело вздымая грудь. Шейная артерия ощущалась острой трубкой от двух слипшихся в груди чёрных камер, воздух через неё не шёл, не прокачивался…

И вот он выбежал ходко. Стриженый кобелишка с чёлкой а ля Гитлер.Не приближаясь, ритмически-тряско обежал площадку и после неуверенного приказа старичка из двери «Дин… это… на место» так же убежал обратно в квартиру, взбалтывая чёлкой и ворча. Выказал-таки Кропину. То ли вредность свою, то ли, наоборот – приветливую преданность. А старичок в это время медленно прикрывал дверь. Довел её до застенчивости щели. И остановил. Как в смущении опустил глаза… «Вы бы зашли к нам, – сказал Кропин, – чайку попьем, познакомимся. Чего одному-то там целый день сидеть». – «Спасибо, зайду», – ответил, глядя в пол, старичок. Медленно убирал щель. Убрал…Странный. Из деревни, что ли, выписали?К Дину этому, к барахлу? Так не похож на деревенского – те-то больше общительные. Странный старичок. Кропин отомкнул дверь в квартиру Кочерги, вернулся, снял сетку с продуктами.

В крохотном коридорчике обдало затхлым, непроветренным, застоявшимся. Включив свет, ворочался в тесноте, ругая себя, что никак не может собраться и расправиться с этими ворохами одежды вокруг. Стаскивал плащ,насаживал на рога вешалки шляпку. Зачёсывая рыжевато-белесые кучер*я*…остановил расчёску. Испуганно вслушивался в тугую, скакнувшую из комнаты тишину. Проверяюще вскрикнул: «Яков Иванович!.. Это я!..»

Секунды рассып*а*лись и рассып*а*лись.

И как-то закидываясь, словно с краю земли, из комнаты донёсся давно уставший, как пережжённый сахар, голос: «Слышу, Митя… Здравствуй…» И добавил всегдашнее: «Раздевайся, проходи…»

13. Старинный чернильный прибор

…Дурацкий этот чернильный прибор откуда-то притащила лаборантка. Наверняка графский какой-нибудь ещё. А может быть, княжеский. Фамильное древо, увешанное именными, зачерневшими от старости бубенцами и бубенчиками. Здесь, на кафедре, на канцелярском замызганном столе Кочерги выглядел он вроде магазина. Магазина «Гужи и дуги». С теми же колокольцами и бубенцами от пола и до потолка. Макая в чернильницу, Кочерга старался не задевать всего этого позванивающего антиквариата. Нужно сказать, чтобы унесла. Просил ведь обыкновенный. В графе «кафедра» (количество членов) твердо поставил «8». Макнул перо. Снова смотрел на всю эту дрожащую художественность, которую, казалось, тронь чуть – охватится-зазвенит вся разом. Жалко, моляще. Только бы не трогали, не тревожили. Да-а, где вы все теперь, бубенцы-бубенчики? В каких землях лежите?.. Нужно сказать, чтобы унесла. Ни к чему. Советский институт, кафедра марксизма-ленинизма.Смешно.

Дошёл до графы «профессора», написал: Качкин Афанасий Самсонович… Да, Самсонович. Самсон. Не меньше. Профессор-автомобилист Качкин… Но как старое сидит в старом, узкое в узком – так, видимо, и подбирается с возрастом боязнь. Боязнь широты, неспособность охвата, инстинктивное самоограничение всякой своей мысли, свободы. Это – Качкин. Выученность у него уникальная, в голову уложенная навечно – из него её не выбить молотом. Но и только. Теперь больше – автолюбитель. Головы уже нет. Голова постоянно под колымагой. Наружу только ноги. Во дворе института. И рядом – дворник Щелков. Висящий на перевёрнутой метле – как на деревенской превосходительной своей опоре. Который объяснял любопытствующим: «Нам бы сёдни её только со двора вытолкать – двести дади-им. Верно, Самсоныч?» – «Верно, Ваня, верно! – хрипел из-под авто автогонщик. – Только за ворота, а там – дуй до горы, в гору наймём!..»

Пришла улыбка. Виделось, как Щелков сумасшедше дёргается, крутит рукоятку в передке колымаги. А Качкин, вставив длинную ногу в кабину, под руль, – давит на газ. Старательно надавливает. Вся ошпаклёванная колымага начинает трястись как издыхающий леопард. Профессор и дворник скорей лезут в кабину, чтобы успеть газануть, пока «леопард» не «рухнет»… Какие тут лекции? Лекции от и до – и накрылся профессор золотушным кузовом. Опять во дворе. И только друг Щелков показывает любопытным: вот они – ноги! Ноги профессора!..

Когда вписывал дорогое учителя имя, рука, стараясь вывести буквы красиво, с любовью… вдруг дрогнула. Почему-то обмер, как первоклашка.Торопливо стал подправлять. Ещё хуже. А, чёрт! Зачеркнул всё. Снова медленно вывел: Воскобойников Степан Михайлович… Но зачёркнутое лезло к вновь написанному, боролось с ним. Глаза в растерянности метались по строке…

И опять засосала тревога. Прошло полторы недели после дня рождения Степана Михайловича, вроде бы всё, обошлось, дальше можно жить, а страх не проходил… Ведь то, что сказал тогда за столом опьяневший юбиляр – сидело в каждом. Подспудным, загнанным в подсознание, в темноту, но сидело. Зачем он вытащил всё на свет? Ведь он ослепил их! Ослепил как шахтовых лошадей! Которых вдруг вывели из темноты на волю… Кочерга отложил ручку, повернулся к окну, ничего не видя в нём, не понимая.

Вошёл на кафедру Кропин. И остановился, точно не решаясь идти дальше. Шляпу както нищенски держал в руках. В габардиновом плаще, весь исстёганный дождем…

И увидев эти холодные длинные прочерки на светлом плаще, увидев тёплую открытую голову друга – Кочерга похолодел. Вот оно! Но забормотал— как спасаясь, надеясь ещё, не веря:

– Здравствуй, Митя, здравствуй, давно жду, почему опоздал, где был,почему не сказал?..

А Кропин подошёл к столу, кинул шляпу на макушку этого прибора,точно всю жизнь только и делал это. Потом сел. Барабанил пальцами, отвернув лицо от Кочерги. Подбородок его корёжило, дёргало.

– Ну, Митя? Ну? Говори же! Говори! Что же ты? Что случилось, Митя! – уже знал, что услышит, а всё бормотал и бормотал Кочерга.

И вздрогнул от заклёкнувшегося в слезах, красненького голоска, улетевшего куда-то к потолку:

– Степана Михайловича арестовали! Вот что случилось! Арестовали!..

– Погоди, погоди, Митя! – Кочерга закрывал глаза, защищался растопыренной пятерней. – Погоди, спокойно… ты…

– Что «годить», что «спокойно»!.. Как мы смотреть теперь будем друг другу в глаза? Как работать? Ведь среди нас Иуда-то. Среди нас, Яша!..

Дальше Кропин глухо, зло рубил, членил весть. Ворон приехал ночью.Как всегда у них. Били библиотеку. Как кукурузу. Рылись. Перевернули всю квартиру. Управились только к утру. Увезли. Позвонил Иванов. Сосед. Понятой теперь. Его жена помчалась на дачу к Воскобойниковым. К Марье Григорьевне. К вечеру, наверное, и привезёт её. Вот и всё.

И появился Зельгин. Зеля.

– Правда?..

Кочерга и Кропин переглянулись.

– …Да в ректорате, в ректорате! Крупенина сказала!.. Ну?.. (Кочерга опустил голову.) Та-ак…

И забегал Зеля, и завзмахивал руками, и застенал, подступив к Кропину: надо же пить, пить уметь! А ты, ты что бормотал! Что! Кто Иуда? Где Иуда? Полный вагон, полный вагон! Люди едут, едут! Слушают! Уши, уши! Вокруг, везде! Тысячи, тысячи ушей! О, господи!..

Левина, увидев три разом повернувшиеся к ней головы, остановилась и побледнела. Словно напоролась на давно известное ей. Пятилась уже, мечась взглядом, точно хотела выйти и закрыть дверь. Зеля бросился, потащил было её ко всем, на ходу объясняя, вдалбливая ей, как тупице, что случилось, но бросил, как всё ту же тупицу, и убежал обратно к Кропину, к Кочерге. И Левина, присев на стул у стены, всё так же поворачивалась к двери. Явно стремилась за неё юркнуть.

Это удивило Кочергу… Походило, что Левина обо всем знала. Знала раньше… Тогда вопрос – откуда?.. Кочерга не успел додумать – дверь опять открылась. Быстренко на этот раз. Прошёл к столу, на чернильный прибор уставился.

– Это что ещё за бандура? – И забыл о приборе. И вопросил: – Это как понимать, товарищи?.. – И слушал риторический свой вопрос. Опять словно бычьими своими глазами. – Как? До каких пор это будет продолжаться?..

И все снова подхватились, заспорили, перебивая друг друга. Кропин говорил, что надо идти к ректору, к Ильенкову, Кочерге, самому, немедленно! «Нет, нет! без толку, без толку! – горячился Зеля, – знаем, знаем ректора! Говорильня! Мельница! Коллективно надо, коллективное письмо! Вот! В НКВД! В правительство! В ЦИК! Куда угодно! Только не сидеть, не ждать!..»«Да что ЦИК твой! Что ВКПб! – уже орал Быстренко, – как это понимать, я вас спрашиваю! После всего, что говорилось на съезде? После таких заявок?»Зеля тут же задолбил его: «А так и понимать! так и понимать! правый уклонизм! началось, дорогой! началось! давно не было! отдохнули!..»

Кочерга не мог сосредоточиться. Раздражала уже эта перепуганная солидарность коллег. Это походило на тихую панику. В стане заговорщиков.Злило это. Кочерга угрюмо говорил, чтобы расходились. И в этом тоже было что-то от полицейщины, демонстраций, заговоров, – он уговаривает По-хорошему. Чтоб господа, значит, Без Эксцессов.И это тоже злило, и «господа» не расходились, опустошённо сидели кто где. И с новой силой начинали спорить.

Глаза Кочерги всё время вязались к чёртову чернильному прибору на столе. В голове вдруг нелепо заметалось из Гоголя: «Эх, тройка, птица-тройка! Кто тебя выдумал?» И представилось: он, Кочерга, наматывает от этой чернильницы, что называется, вожжи на кулаки. Бубенцы в нетерпении позванивают. – И со столом, и с игогочущимикафедрантами за спиной, да по всей России – вскачь!..

Кочерга поспешно полез из-за стола. Встал у окна. Лицо боролось с ударами смеха. Истерика. Натуральная истерика. Точно. Крутил пальцами над головой, что-то бормоча о лаборантке. Зеля кинулся за дверь, тут же привёл её. Кочерга смотрел на девчушку в великом халате чёрного цвета, ничего не понимал, не мог вспомнить. Отправил, наконец, узнать у себя ли Ильенков.

Стали ждать. Кочерга спросил о Калюжном. Начали узнавать друг у друга: где? где он? На работе? Был ли? Видели ли? Избегали напряжённо вытянувшегося лица Левиной. И опять разом забыли и про Левину, и про Калюжного, и про их отношения, и про вопрос Кочерги. Испуганно слушали себя. Часто моргали. Словно изгоняли из глаз черноту. И не могли никуда от неё деться.

Вместо лаборантки спиной судорожно втолкнулся в комнату Качкин.Повернул себя. Сразу понял – правда…

На стуле перед всеми сидел, уперев тощие кулаки в колени. С нелепым видом деловитости, глубокомыслия. Вдруг потянул из брючного кармашка тяжёлые часы на длинной цепочке. Показывал всем этот хронометр как вскрытую раковину. Показывал. Словно забыв слова, стукал ногтем по стеклу часов. Показывал. Стукал…

Кочерга спросил, что, что он хочет сказать?

– У него через пять минут лекция… Да… Ровно через пять минут… – Ноготь стукал по стеклу: – Он должен быть на лекции… Ровно через пять минут лекция… Да…

– Не надо, Афанасий Самсонович, – просил его Кочерга. – Успокойтесь. Пожалуйста…

Но часы – уже захлопнутые, опущенные мимо кармашка, – упали. Покачивались длинно на цепочке у пола. Словно забытая слюна старика маразмата… Кропин наклонился, подхватил их, вложил старику в ладонь. Замороженный Качкиндажене шелохнулся. Всем стало ещё тяжелее. Жалко было и Качкина, и самих себя.

Незамеченнойвошла лаборантка. Стояла у порога…

– Яков Иванович, ректора нет… Он был, но сразу уехал. Там только Крупенина. Секретарь. Она и сказала…

Точно для закрытия собрания Кочерга поднялся, одёрнул пиджак. Но отвернувшись опять от всех, говорил глухо, с остановками. Кто может работать, пусть идёт работает. Если нет, то нужно отпустить группы. Скажите старостам. Студентам не надо. Ничего не надо. А к Ильенкову— я сам. Буду ждать. Не приедет – значит, завтра. С утра. Никаких делегаций, писем. Я один. Идите, товарищи. До свидания…

Опустился на место. Колокольцы над столом вздрагивали, тонюсенько позванивали, сотрудники передвигались, собирали что-то своё, размываясь в пятна. Прежде чем уйти, каждый словно тихо оставлял свой чёрный колоколец над столом… И осталась вся розвесь Кочерге. Ему одному. Как какой-то чёрный онемевший колокольни звон… Кочерга сжимал, тёр виски, закрывал глаза.

…Даже если только на минуту предположить – на минуту! – что это он.Пальцы слепо ползали, искали по холодному атласу одеяла, прощупывали стежки. Шлёпанец готов был соскользнуть с ноги, раскачиваясь у пола. Этот, так сказать, итальянский забастовщик, в общем-то старик, пойдёт и начнет стучать на такого же старика, как сам? Голове было на подушке низко, взгляд Кочерги блуждал под потолком в вязкой тени абажура. Даже пусть соперниками были

они когда-то в науке? Забудет об этике, чести, о **старой**их этике и чести, которые нам и не снились – и пойдёт?.. Да никогда!

«Опять с ногами!» – холодно пропахнуло вдоль кровати. Такое же атласное, стервозное, как и под пальцами. С «ногами». Кочерга опустил шлёпанец на пол. Зинаида металась, хватала какие-то тряпки. Точно в соседней комнате уже горело. Сомкнутые веки Кочерги подрагивали. Вылетела из спальни. Рыжий, вздрогнул в абажуре свет.

В гостиной забасил Отставной Нарком. И почти сразу же Андрюшка начал топать. Старательно шмякать сандалиями по паркету. «Тяни носок,красноармиец Андрюшка!» Кочерга закрыл глаза. Словно так можно было не слышать. Мучая себя, копил и копил вопросы. Теперь к Зельгину. К Зеле.Видел его закинутое вдохновенное лицо. Когда тот читал курс студентам.Лицо словно светилось. Как ниспосланное студентам небесами, где одно только божество – Наука. Мог вот такой? Если мог, то зачем? С какой целью?.. Словно ледяная вода набиралась. И не в котелок, не в ведро даже, а в расшлёпнутый здоровенный таз. И ты голый, разъедаемый мылом, ждёшь.Когда вода эта наберётся. Ты должен опрокинуть её на себя. Ледяную. Окатить всего себя сверху. И только тогда уж, задохнувшись, приплясывать и хрипеть в радости, в очищении: да нет же! не-е-ет! не Зеля!..

Кочерга передёрнулся. Завёл руки за голову. Глаза опять таращились на пыльный, млеющий под абажуром свет. Ну а если Быстренко? Николай?Даже если он спорил со стариком? Был не согласен, часто в корне не согласен с ним? По-бычьи выпучивал глаза? Как наиглавнейшие свои аргументы? Да и старик в долгу не оставался, долбил порой Быстренку с чувством, от души? И что же, перевести эти споры в донос?.. Чепуха-а…

Фамилию же «Кропин», фамилию верного друга, Кочерга вообще не подпускал к себе. Чуть только выглянет из-за угла – цыц на неё— и исчезла она. Тогда остаются… Левина и Калюжный. Вернее – Калюжный и Левина.Так будет правильнее. Да, именно так: Виталий Калюжный и Маргарита Левина.

Ведь был вопрос, шутливый, правда, вопрос представителя Наркомата:не обижает ли товарищ Кочерга своих сотрудников, не давит ли, не мнёт ли? И был поспешный, какой-то радостно сорвавшийся выкрик Калюжного:«А что, товарищи! Давайте развенчаем нашего уважаемого завкафедрой! Выведем на чистую воду! Возможность есть!» И захохотал. И в глазах метался радостный испуг. Так скидывают царей, владык. И всем стало неудобно,стыдно. И смех Витальки в пустоте поспешно сам себя съедал… Такое срывается с языка, когда человек ждёт, очень сильно хочет, нервишки не выдерживают, сдают, раскрывается человек, хоть на миг, а сдёрнет одежонку с душонки… Конечно, тут можно и пристрастным быть, тем более,если это лично тебя касается, но как глаза Калюжного забыть? Этот отчаянный, радостный испуг в них: вот он миг! братцы! фантастический! сейчас – или никогда!.. Уж очень таилось, пряталось всё. И вот – выскочило. Но сразу: «Шутка! Шутка, товарищи!» Конечно, шутка. Кто ж спорит? Просто походя пошутил. Зато сейчас начал шутить, похоже, всерьёз…

Всё шмякали Андрюшкины сандалии. «Уста-ал, де-еда!»«Разговорчики, красноармиец Андрюшка!» – «Папа, ну чему ты его учишь?» – «А чему это я учу его, позвольте спросить? На кровати лежать? Как некоторые? Еврейским сказочкам про Тошу и Кокошу? Про Бармалеев?.. Шалишь, уважаемая. Не позволю растлевать. Маршируй, Андрюшка! Наш марш завоюет весь мир! Н-не позволим! Н-никому! Мы красна кав-валерия, мы в бой идё-о-ом!»От ударов слоновьих ног в гостиной в спальне подрагивал абажур. Кочерга стискивал зубы, мотал головой, словно отрицал всё, что лезло из-за двери.

В отдохновение себе, в защиту, видел потом под потолком мокрый луг, весёленькую тележку с лошадёнкой, сбалтывающуюся по нему к лесу, смеющихся в ней людей под сеющим, как из лукошка, солнцем…

От выпитого ли фужера вина за завтраком, от солнца ли такого ликующего, от мириадов и мириадов его, рассыпанных по мокрому всему полю… всё ночное казалось вымышленным,

рассказанным кем-то, рассказанным под злую руку. Всё это приснилось, в страшном сне, с пробуждением – прошло, исчезло, не было этого, никогда не было. Степан Михайлович и Кочерга,подпрыгивая на кочках, загорл*а*нивались песнями. Забывали, перевирали слова, хохотали от этого ужасно, отваливаясь друг от друга; пугливо-нервно взлаивала Зинаида, Андрюшка звенел, дёргал ножками; как мехи накачивала табачный дым кепка возчика впереди…

И только когда скатившуюся телегу с людьми поглотило тёмной пазухой леса, когда тяжёлый бор высоко надвинулся и окружил, поспешно подбирая отовсюду тени… все по одному стали умолкать. Старались почему-то не смотреть вверх на холодные тёмные сосны, клонили головы вниз, к дороге. Один Андрюшка искал опять вверху птиц…

На перроне… Степан Михайлович поцеловал всё же в щеку Зинаиду…Подкинул разок Андрюшку… Потом держал в тёплых спокойных ладонях руку Кочерги. «Ничего, Яша, ничего, всё будет хорошо…»

Остался, уходил, убегал, улетал с перроном назад с вытянутой машущей рукой, словно пытался догнать, увидеть в последний раз, опять мучающийся, в закор*о*тившихся хвостатых штанах дачника…

– …Но ведь это же всё погоня за миражами! Ведь это же выдумывание всё более и более страшной сказки, ирреальности, жути! Это же сплошь фикции, блеф! Это же страшно! Это же невозможно понять! Неужели **он** не видит, не слышит ничего?! Где тут логика, смысл?.. Лучших людей. Лучшие кадры. По одному. Скопом…

Ильенков вскочил, перекинулся через стол прямо к уху Кочерги. Закричал, выкатывая глаза, – шёпотом:

– Это провокация! Слышите! Прекратить! Я не позволю при мне! Я…

Рука шарила на столе. Тыкала, тыкала кнопку. Вошла Крупенина. Секретарь. И мимо Кочерги два раза было пропущено завитое перманентное лицо: сначала с нетронутым чаем на подносе, затем – в нагрузку к уносимой папке. Кочерга сидел мешком, пустой, потухший. Поглядывая на него, ходил Ильенков. Освобождался от страха:

– Мальчишка! Мы вам доверили кафедру! Людей! Учебный процесс! В тридцать четыре года! Где ещё такое может быть? А вы? Вы – так оправдываете?!

Кочерга начал подниматься. Глухо извинился. Двинулся из кабинета.Ильенков вернулся на место, сел. Сунул руку в карман. Вынул. По-собачьи— влёт – цапнул таблетку. Прожёвывая её, деловито, строго оглядывал стол,взяв его во все десять пальцев.

А в декабре, в начале, пошёл второй сотрудник кафедры – Зельгин. За ним через два дня – третий: Быстренко Николай Иванович…

Бедняга Качкин домой последнюю неделю не ходил… Вытащили прямо из бокса институтского гаража, из ямы, из которой он ощупывал в последний раз ходовую часть своей машины. Когда вели по двору, старик хлопал замызганную ушанку о серый, в масленых пятнах, валенок. Вернул её онемевшему Щелкову, дворнику. Ему же, сняв с себя, – его бушлат. В одной сорочке и жилетке, в култастых грязных этих пимах, никак не вяжущихся с его профессорством, – полез в машину. Щелков стоял, раскрыв рот, пока у него не вырвали всё из рук и не швырнули вслед за Качкиным. Машина тронулась.

Щелков бежал. Болталось за решёткой лицо Качкина. «Самсоныч, как же так? Ведь в гардеробе пальто-то твоё, в гардеробе! Бушлат-то грязный…» «Сойдёт… – махнул рукой Самсоныч. – Прощай, Ванюша». Щелков всё бежал, в мучении оглядывался. «Как же, а? Как же?..»К решётке сунулась рожа. Кругло дунула в Щелкова: «П,шёл!» – И бегущего дворника как отшвырнуло, он упал на тротуар, на колени, там раскачивался, плакал, царапал тощими руками снег…

А потом пошёл и сам Яков Иванович Кочерга, завкафедрой, арестованный в ночь на 30-ое декабря 39-го года. Он был последним. Он словно тихо прикрыл за собой и всеми дверь.

Переживали на кафедре нетерпеливые Калюжный и Левина. Смущались. Как жених и невеста. Перед началом неизведанной жизни. Похудели даже. Ждали. Постоянно вытянутые, пылающие… И на удивление свое, потом на ужас, с ними был оставлен Кропин. Будто – шафером. Будто с чистым полотенцем через плечо!..

Уже с середины января стали ходить по кафедре какие-то глухо молчащие люди, взятые в новые скрипучие комсоставские ремни. Постоянно самоутверждаясь, как индюки били гимнастёрочными хвостами. По одному закуривая, носили папиросы. Как государственный вопрос.

Завкафедрой был утверждён Калюжный. (Виталька-шустряк, как тут же прозвали его студенты.)

С преданностью не истрёпанной ещё копирки рядом встала Левина Маргарита Ивановна. Встала – чтобы Виталька мог наколачивать через неё (вежливо пока что, вежливо) приказы молчаливым людям. (Оглушённого Кропина не трогали.) Сердце Левиной вздрагивало бульбой, сладостно и гордо. Заговорили в коридорах, что уж теперь-то свадьбе – непременно быть.

Кинутые на усиление старались. Честно тужили мозги. Пытались хоть что-то понять в учебниках, в конспектах, что им подкладывала Левина. Неделю примерно «увязывали, понимаешь, вопрос». Потом пошли в массу. В аудитории. Преподавать.

Кропин ушёл из института. Тогда вдогонку сразу был выпущен слух – он!..

14. Наше общежитие

При заселении высотной этой, из красного кирпича, общаги в шестнадцать этажей на вооружение взяли сильно разогретый цирком Дурова его ближайший лозунг – «всё нынешнее поколение зверей будет жить при .....», и – удивлённые – оказались в одних комнатах шофера и автоинспекторы. Вместе. Вперемешку. Один шофёр, два автоинспектора. Два автоинспектора – пять шоферов.

Но и с лозунгом было в акте этом что-то неуверенное, стеснительное и даже тайное. Что-то от вмурованной для потомков капсулы… Внутри на всю ширину и высоту забубнили драки.

Старались бить – чтобы не в форме когда. Чтоб – когда в штатском. По доверчивости. Думая, что так ничего, можно… Многие поехали из Москвы в казённых вагонах, некоторых просто вышибли за пределы её. Пустоты забивались посторонними. Появились какие-то крановщики, пескоструйщицы. Два цыгана всё время с мешками. То ли с только что наворованными, то ли просто так. По пятку студентов от ближайших институтов. Образовались чисто семейные этажи и этажи, где не поймёшь. Автоинспекторы старались теперь больше вниз, поближе к выходу, к дверям, к выбегу. Шофёр взлетал наверх лифтом, чтобы быть при облаках, чтоб Газовать.

Днями по коридорам у дверей, как по сельским улочкам возле своих домиков, на корточках курили мужички. Которым не нужно было идти в смену. В остановленной тёплой мечтательности, поодиночные, редкие. Вставали по одному, тушили окурки в баночках, баночки уносили с собой в комнатки.

С пустыми чайниками шлёпали на кухню. Ноги в трико передвигали вроде зачехлённых лыж.

У телевизора в так называемом холле – разбрасывались в жёстких засаленных креслах. Ноги закладывали по-городскому,выше головы. Законно,что тебе паспортами, мотали шлёпанцами.

Приходила с открытым блокнотом Нырова. Завхоз. Оглядывала шторы, тюль. Записывала. Грубо вздёргивала кресла, чуть не выкидывая из них мужичков: «Ну-ка! Расселись тут. М-москвичи…» Сличала инвентаризационные номера. Кресла падали. Как подламывающие ноги олени.

Два раза в месяц, будто за зарплатой, входил в большую общую кухню странный человек в длиннополом пальто. Бледный и вычерненный как подпольный экземпляр из-под избитой копирки.

– Сестры, Христос сказал…

И поднимаемый белый истончившийся указательный палец (перст) с нечистым ногтем казался продолжением выморочного света его лица, высшей точкой этого лица, его кульминацией, маяком…

Женщины с жалостью смотрели. Предлагали поесть. Вот, картошечки можно. С селёдочкой. Поешьте!.. С возмущением отказывался проповедник.Широко шагая, кидал полы пальто по коридору к лифту. Некоторые поторапливались за ним. Извинялись, просили приходить ещё. Вычерненный – проваливался с лифтом!

Женщины возвращались к кастрюлям, к бакам с бельем, к малышам,возящимся тут же в кухне. Почти все по-детски костлявые, малокровные, со всплывающими венами на руках. С постоянными нелиняющими печатями от бдительного абортария, что припрятался неподалёку от общаги, за углом…

Приходил однако и другой проповедник. Больше утешитель. Старичок. Сидел в кухне на табуретке. От еды никогда не отказывался, с аппетитом ел, нахваливал хозяек, много шутил,

смеялся вместе со всеми. Промозоленная солнцем головка его напоминала… посох. За который хотелось взяться и идти куда глаза глядят…

В углу комнаты, у ласкового света от окна, огородившись тенями,участливо выслушивал страждущую. Советовал. Утешал. Бога поминал редко, больше направлял на земное, реальное…

Потом, умиротворённый, дремал на табуретке. Его тихо терзали малыши…

По ночам, когда под кран подставлялся болтающийся стакан, чтобы тут же загасить водой ужасную трезвеющую жажду, – склерозные трубы общаги хлестало по комнатам врасхлёст, будто лианы. Подключённые, под подоконниками продетые, таксами начинали рычать калориферы…

А утром рано внизу, в промозглом тумане, опять снимались и летели сажей пэтэушники. Везлись, обнимали лаковый автобус, как мечту свою, как маму. И Новосёлов стоял с намыленной щекой вверху в окне, словно закинутый туда. Растерянный, злой. Бессильный что-либо изменить…

На сцене, наглядной облачённые властью, сидели в кумаче до полу Манаичев, Хромов, парторг Тамиловский, Силкина и взятая на секретарство Нырова.Завхоз.

Манаичев сидел, возложив кулак на стол. Изредка на пометку мотал им за плечо скукожившемуся строчливенькому референту. Возвращал кулак на скатерть. Отдалённо, как с горы, глаза его смотрели в злую, говорящую часть лица Новосёлова, стоящего у сцены внизу.

У ног же стола, как у ног суда, в первый ряд был посажен весь Совет общежития. Оттуда, лицом к людям и говорил Новосёлов. Говорил, словно призывал в свидетели.

Притемнённый Красный уголок был битком. В отличие от счастливцев, что были с фанерными спинами и номерами, многие стояли вдоль стен. Некоторые высовывались, держась за спинки крайних кресел, ловя каждое слово говорящего.

Новосёлов видел это, видел мучающиеся,*разрешённые* глаза лимитчиков, обращённые к нему. Он был надеждой их, он был их болью, их тоской.

…сорок семь человек стоят в очереди. Сорок семь! Живут по частным квартирам, снимают с семьями углы, отдают ползарплаты. Хотя в общежитии полно посторонних, не работающих у нас, да и вообще, похоже, нигде не работающих. Как? Какими путями они влезли в общежитие? Тут бы надо и спросить с кое-кого… В бытовках по одной стиральной машине. Что, на неё любоваться, указкой показывать? Гладильных досок нет. Ни единой. На кухнях не хватает плит. Тут и баки с бельём, и еда готовится… Кран боязно открыть – рычать начинает так, что дети в крике заходятся! Когда уберут, наконец, Ошмётка? За два года его никто с ключом, с молотком не видел! Зато Силкина и Нырова за него горой. Отчего бы это? Дайте, в конце концов, нам всё. Нам. Паклю, прокладки, инструмент. Сами сделаем всё, сами, без всяких ошмётков. Вообще, когда, наконец, будет капитальный ремонт? Настоящий?Не подкраска, подмазка, подлепка, что ежегодно делаются? Куда деньги уходят? Опять – с кого спрашивать? Когда, наконец, мы избавимся от клопов?Ведь жрут детей, грудных детей!.. Ведь красить надо всё, белить, все этажи,все комнаты, тогда всё выведется, а не перегонять их от соседа к соседу.Дайте людей. Минимум людей. Маляров, штукатуров, водопроводчиков – поможем. В свободное время будем работать с ними. У нас десятки днём по коридорам болтаются, сидят, курят, от безделья стонут. Разомнутся хоть…Как деревце воткнуть – надо не надо – всё общежитие выгоняем. Как же, субботник, Ленин, мероприятие. Видно. А вот внутри, где не видно – зачем?.. За красной скатертью мы располагаться любим, умеем, до дела же когда – извините!..

Новосёлов маханул к президиуму. Сбоку сел. Ногу на ногу. Очень прямой. Постукивал пальцами по красной материи. Чуб его торчал вперед абхазской мочалкой.

Люди нервно посмеивались. Хмуро отклоняясь от написанного, не приемля его, Нырова строчила в тетради. Авторучка её зло дёргалась.

Та-ак. Клоунада, значит. Да ещё с политическим душком. Понятно.Из президиума начали отвечать клеветникам и клоунам всерьёз. Вставая по очереди и, как говорится, высоко засучивая рукава.

Непримиримо уперла кулачки в стол Силкина. Головой трясла. Демагогия, подтасовка, клевета. Д-да! В нашем общежитии как раз всё наоборот…Клевета, подтасовка, демагогия. Вот!..

В дискуссию с охотой включился Тамиловский. Парторг. Заговорил с какими-то лабильными губными переливами. Так заиграла бы, наверное,гармонь-ливенка. Душевное предлагал сотрудничество, взаимопонимание,доверие. Вдруг забыл, о чём говорил, несколько секунд блеял «э». Но – вдёрнулся в себя. И снова с губными переливами поливал. Сам – с закрученными волосяными р*о*жками над лысым черепом— чертяга!.. Ему даже похлопали.

Дошло до Манаичева. Встать он, конечно, не соизволил. Сидел с брезгливостью гарнира. Вываленного на пол и вновь заваленного на тарелку – сожрут так. Иногда брал, вертел в руках бумажки, подсовываемые референтом. Говорил нехотя. Собственно, то же, что и предыдущие. Поменьше демагогии,горлохватства, больше дела, результатов. Надо уметь ждать, понимаешь. Вот мы в комсомольской юности нашей… Но дальше, на повышение (окрепление) голоса не пошёл, бросил так. В конце долго разглядывал одну бумажку…

– Тут насчёт прописки просили сказать. Кто у нас семь там, восемь и больше лет… Вопрос не решён… Будет решаться ещё…

Несколько человек одновременно прокричали:

– Когда?!

По упавшей тишине прокидало муху. Онавлипла в скатерть. Сжалась в точку… Референт поспешно сунулся к оттопыренному уху… С хрипом Манаичев включился:

– …Сразу… После Олимпиады… Так что работать надо, товарищи, хорошо работать. Показать, понимаешь, кто на что… Понимаешь… А уж там – всё будет. Обещаю… Вот так. Желаю успеха!

Люди молчали. Сидели с забытыми лицами. Манаичев собирал, комкал бумажки. Референт совался с разных сторон, затирал руки как стыдливых змей. «Собрание закончено!» – раздалась команда.

Стали подниматься. Спотыкались. Тесно строились в затылок.

Новосёлов толокся к выходу вместе с неостывающим своим Советом,настырный опустив чуб.

15. Детская коляска

…Вытирая влажной тряпкой подоконник, Антонина глянула на улицу и обомлела: Константин Иванович ворочал в канаве, выталкивал на тротуар здоровенную детскую коляску. Прямо-таки колесницу с чугунными колёсами. Сваренную из листового железа. Колесница капризничала, упершись передним колесом в кирпич. Константин Иванович разворачивал её, выдёргивал.

Громыхал с нею на лестнице. Ввалил её, наконец, через порог болтающуюся.

– Вот, Тоня, – Сашке… Здравствуй, родная…

– Да как вы её в автобус-то втащили?!

– Да уж втащил… Хорошая коляска. Надёжная… – Колесница от перенесённого беспокойства подрагивала. В руки она, верно, Константину Ивановичу по-настоящему так и не далась. Ни габаритами своими, ни весом. – Сварщик постарался. Знакомый…

Опробовать её, конечно, мог только Константин Иванович сам.

В коляске на колдобистой мостовой Сашку трясло, подкидывало как в лихорадке. Но, перепуганный, он молчал. Два раза был круто обдат пылью от пролетевших грузовиков. И тогда уж с полным основанием заорал. Константин Иванович решил держать ближе к обочине, но и там подкидывало и встряхивало. Пришлось выбираться через канаву на тротуар. А тротуар разве сравнишь с мостовой? Где всё широко, открыто? Где тебя видно за версту?Да ладно, и здесь ничего.

Со сметаной и творогом в берестяных вёдрах на коромыслах к базару трусили старухи-марийки. В лаптях, в национальных кафтанчиках, подбитых короткими пышными юбками – узкоплечие как девчонки.

Сразу окружили коляску, отпихнув Константина Ивановича в сторонку. Смеялись над онемевшим Сашкой, играли ему сохлыми пальцами, точно коричневыми погремушками.

Константин Иванович смеялся. Марийки начинали одаривать его, отказывающегося, руки к груди прикладывающего, сметаной. Уже налитой в баночку. Кидали жменьку-другую творогу в тряпочку. В чистую. Завязывали узелком. Пожалиста! И поворачивали вёдра и коромысла. И поторапливались дальше. И ноги худые их в шерстяных разноцветных чулках откидывались пружинно назад – по-кобыльи… Константин Иванович вертел в руках баночку, творог, не знал куда деть. Пристроил к Сашке, в коляску. Повёл её дальше.

Ну и встретился, наконец, свой, можно сказать, родной, райисполкомовский. Им оказался Конкин. Инструктор Конкин. Словно держал его Константин Иванович, как вышел из дому, на задворках сознания, не пускал на волю, загонял, заталкивал, запинывал обратно. Но тот выскочил-таки.Освободился. Покачивался, подходил. Забыто размазав улыбку. Глаза его выскакивали от восторга. Будто видели интимное, женское, тайное. Ноги забывали, куда и как ступать…

– И не боишься – жена узнает?.. – Стоял. Вывернутогубый. Утрированный. Как поцелуй.

– А! – смеясь, махал рукой Константин Иванович. – Бог не выдаст – свинья не съест!

– Ну-ну! Смотри-смотри!..

Конкин спячивался.Конкин уходил, скользя улыбкой…

И ещё нескольких раз выводил коляску с Сашкой на улицу Константин Иванович. И опять бежали с коромыслами и берестяными вёдрами марийки. И окружали они колесницу, и радовались, и смеялись, и головки их метались над младенцем как пересохший мак… И оставляли потом отбивающемуся отцу баночки и жменьки в чистых тряпочках. И дальше бежали к базару, по-лошадиному откидывая ноги назад…

Они вошли в приёмную втроём: сам Чалмышев, Конкин с папкой и какой-то незнакомый мужчина, который с интересом посмотрел на Антонину. Точно много был о ней наслышан.

Антонина начала подниматься из-за стола. Спорхнул, метнулся под ноги мужчинам белый лист. Чалмышев нагнулся, поднял его, положил обратно на стол. Взял мужчину за локоть, увёл в кабинет. Вернулся один. Трудно,тяжело объяснял всё Антонине…

– Но почему? за что? в чём он виноват? В чём мы виноваты?!

– Прости, Антонина. Я тут ни при чём… Стукнул кто-то… Видимо,жене… Та – на работу… Сама знаешь, как это бывает…

Конкин-инструктор стоял в сторонке. Раскрытую в руках папку изучал уважительно. Как партитуру жизни. Вывернутые улыбки его стеснялись на лице, будто окалина. Плюнь, и зашипят.

За Чалмышевым пропадал на цыпочках, дверь закрывал тихонько, деликатно, нисколечко не скрипнув ею.

В пыльнике,ссутулившись, Константин Иванович сидел на табуретке.У ног его разъехалась забытая сетка с привезёнными из Уфы продуктами. Где, несмотря ни на что, главенствовал над всем хорошо откормленный младенец. Смеющийся на белой чистой коробке.

– …Ну подумаешь, Тоня. Ну убрали от дела. Ну посадили на письма.Ну билет отберут… Так что – жизнь кончится?.. Пошли они все к дьяволу,Тоня… Живём ведь…

Антонина отворачивалась, кусала губы. Посматривала на него. Опять как на бесталанного, жалконького, как на несчастного своего ребенка, сына.Плакала.

– Ну, Тоня… Не надо… Живём ведь… Не надо… Прости…

Ладошками Антонина перехватывала свой натужный стон, пугаясь его, раскачивалась, удерживала, не выпускала. Она не могла представить того, что ждёт их дальше. Что будет с ней самой, её сыном, с Константином Ивановичем… Глаза мучились, полные слёз.

– Не надо, Тоня… Прошу…

В кроватке у стены спящий Сашка сладко плавил, завязывал губы бантиками.

16. «Вот он наш охват? Наше зрение?»

Серов торопливо раздевал покорных Катьку и Маньку. Часы на белой стене равнодушно отматывали восьмой час. Колченогая скамеечка под Серовым постукивала. В соседнем зальце дети уже тихо маршировали, вразнобой помахивая руками. «Раз-два!Раз-два!» – слышалось под дребезжащее пианино. «А теперь, дети, – бурей… Поб-бе-жа-а-али! Замахали ручками, замахали! Бурей! Бурей!» От пианино, как от землетрясения, стенка с часами начинала трястись. Дети будто бы бежали. Осторожно падали, ложились, в одежде – как в мешочках, жиденькие со сна.

Куроленко Елена Викторовна постукала чистейшим прозрачным ногтем по стеклу своих часов. Серов согласно кивнул. Сдёргивал, кидал Манькины резиновые сапожки в ящик с зайчиком.

Над Серовым продолжал стоять халат свежее свежего. К работе такой халат допустить – было бы полным кощунством. Его можно было только носить. Заведующей. Директору Бани. Продмага. Главному врачу. По утрам перед зеркалом прочувственно, тепло застёгивая пуговицы его. «Завтра – очистка территории. Вы в курсе?» Серов сказал, что они работают: и он, и жена.Ему сразу же возразили: все работают. Однако… Хорошо, хорошо, кто-нибудь попробует отпроситься.

Куроленко не уходила. Руки в открахмаленных карманах, завитая –круто. Серов сказал, что уплатят. Во вторник. Получка. Конечно, можно и во вторник, однако было бы хорошо не забывать, к*а*к они попали сюда, кт*о* они,по гроб жизни люди должны быть благодарны, а не…

Серов остановился. С детским носком в руках смотрел на женщину,как на заструганную осину. Сколько месяцев как прописалась-то в Москве?Москвичка?.. Куроленко унесла закинутую голову в зал. «Раз-два! Раз-два!Не спать!» Дети затопали. Утяжелённо, перепуганно.

Серов бросил носок в ящик. В другой. Где белочка.

Проскочил в последний момент – пневматические двери состукнулись. Ослеплённый множеством глаз, тут же отвернулся обратно, к двери. С нарастающим воем поезд рванул в туннель. За стеклом напротив Серова выскочил и полетел пришибленный чёрный человечек. На плечах человечка умирал дождь. Серов убрал взгляд в сторону. Схема на стенке напоминала макроскопически разожравшуюся блоху, не знающую куда ползти. Точно в плохой картине плохим художником все были ссунуты в какую-то членовредительную композицию. Сидели, сильно откинувшись, разбросавшись, развалившись. А также очень прямо, сухо. Висели на блестящих штангах с перепутанными руками и головами. Стояли, в скорби загнувшись, выпятив самодовольно животы. Ужимались у дверей, у стёкол. Всё было заселено, что называется, глубоким интеллектом. Никто ни на кого не смотрел. Москвичи вывесили в передыхе глаза. Для тонуса слегка нервничали рафинированные москвички. Глазели по потолкам – все в новых больших костюмах – деревенские жители.

А вагон, болтаясь, летел. Где-то глубоко под землей. В полной тьме,холоде, сырости. И казалось Серову, что оберегается он только ненадёжными лампами под потолком. Оберегается как трепетными руками, ладонями… Невидимая сила начинала теснить, сдавливать со всех сторон движение, скользко полетел длинный кафель, вагон вынесло в пустой вислый свет станции, резко сжало, и он словно ткнулся во что-то.

С шипением разбрасывались двери. Торопясь в куче, люди выходили.Торопясь в куче, люди входили. Уступая дорогу, Серов спиной вминался в поручень, привставал на носочки и потупливался балериной.

На освободившиеся места падали новые пассажиры. Сразу возводили книги, как возводят мусульмане ладони, творя намаз. Стукнутые аутотренингом, продолжали бороться со своими лицами их соседи.

И опять нарастающее, воющее устремление поезда в черноту. Опять словно мучительная, бесконечная подвижка под землей. Подвижка к чему-то очень желанному, но недосягаемому, неизвестному. И Серов опять никак не мог запустить в себя Чёрненького, летящего за стеклом вагона, не находил сил освободиться от двойника.

С присядкой, беря метлой широко,Дылдов швырял мокрые грязные листья справа налево, продвигаясь по бульвару.

В этот послеутренний неопределённый час аллея была пустой, с тяжело висящей меж деревьев пасмурной сырой далью. Иногда неизвестно откуда поколыхивались одиночные прохожие, мечтательные, словно растения. От метлы Дылдова подскакивали, будто от косы. Оборачивались, спотыкались,унимая сердце. «Поберегись, граждане!– летали метла и листья. – Проспавший дворник работает!»

Серов смотрел на тяжёлую налимью спину друга, всю мокрую от пота, на застиранное пузыристое трико, на взнузданные этим трико голые мотолыги,жёлто торчащие из смятых кроссовок, на ритмично поматывающуюся голову в вязаной шапке… Дылдов тоже увидел его, подмигнул, продолжая махать: «Сейчас я, Серёжа. Обожди».

Они сидели на скамье среди высоких отуманенных лип. Дылдов курил,ознобливо нахохливался в накинутом на плечи пальто, слушал жалобы Серова.

Уже в комнате Дылдова, в холостяцком разбросе и безалаберщине, Серов предложил «сбегать». «Не надо, Серёжа. Сам знаешь, когда ко мне подступает. Время не подошло. И тебе не советую».

Не снимая плаща, Серов сел у стола. Слушал, как в коридоре Дылдов резко пустил струю из крана в чайник. Как, что-то сказав, хохотал вместе с чайником и соседкой.

Заварка была. Сахара не было. Дылдов подвиг было себя к пальто. Серов его остановил – не надо, сойдёт и так. Пили чай вприкусу с каменными пряниками. Пытаясь откусить, Дылдов удерживал пряник двумя руками. Как губную гармошку. Хруст, раскол наступал секунд через пять. Заливая камушек во рту чаем, Дылдов говорил: «…Они же все словно договорились, как писать, Серёжа. Давно договорились. Негласно, но железно. А ты – сам же видишь, ну никак к ним. Ни с какого боку… Понимаешь – правила хорошего тона. А ты – просто не воспитан. Да разве будут они тебя печатать? Они будут тебя бить! И притом искренне, каждый раз ещё самодовольней утверждаясь в своей правоте. Это даже – не традиция. Тут именно – договорились,условились. Это касается и языка, и построения фразы, и тем, и сюжетов, и границ дозволенного… Правила хорошего тона – понимаешь? А ты – ну никак к ним. Ни с какого боку. Ты просто не воспитан…»

Серов сидел послушно, чувствовал себя виноватым. Рядом проникновенно блестело расплюснутое лицо налима. Отпивая чай, налим дожимал и себя, и кореша по литературным мытарствам: «А вообще-то, Серёжа, всё давно написано. Всё давно – банальность. Спасти литературу (ну и нас, грешных) может только свежий взгляд на банальность. Свой взгляд. Единственный. Только твой взгляд…

Бормочут: ухищрения в стилистике, оригинальничание, фиглярство!..А дело в твоих глазах. Ты так видишь. И никто другой. Другие проходят.Мимо. Они не видят. А ты видишь. И это – твое счастье. И я не верю в муки слова. Есть радость слова. Озарение. Ты слово ждёшь, и оно приходит. Конечно, это всё – о таланте. А если всё у тебя где-то на серединке да на половинку… Не надо бояться своих слов, Серёжа. Примут их, нет – это десятое.Не надо бояться зелинских. Это ороговелые. Они знают о литературе всё и ничего. Они Не Видят. Слепые. Они ведут разговоры только на уровне сюжета. Поступка. Мотивации. Слова они не чувствуют, не

слышат. У них нет того пресловутого Образного Мышления. Нет своих глаз. Хотя они говорят тебе:«Море смеялось» – это образ! Им долго разжёвывали эту метафору в университетах, и они сглотнули её, искренне поверив, что только таким и может быть образ. Это их надо благодарить за то, что литература сейчас – голый серый сухостой. А ты вот пишешь: «собака бежала прямо-боком-наперед». Куда тебе к ним? Не примут».

Дылдов налил чаю. Себе пятый.Серову – второй. Начал теперь друга «спасать»: «Мой совет, Серёжа: не обращай внимания. Неприятно это всё,ранит – понимаю. Но – забудь, выкинь из головы. Они не писатели. Они— члены Союза писателей…»

Утешитель помолчал и неожиданно съехал с накатанной дороги: «А вообще-то, если здраво, плохи наши дела, Серёжа. Можно сказать, безнадёжны… Работать надо, Серёжа. Только работать. За столом. Писать. Несмотря ни на что. Каждый день. Каждый час. А ты вот нервничать стал. Бегаешь по редакциям, доказываешь. Зачем?.. Сгоришь так, Серёжа. Радость труда своего потеряешь. Не ходи к ним. Сгноят они тебя, эти зелинские…»

Дылдов застукал пальцами по столу, раздувая налимьи ноздри.

Серов смотрел в круглые голые дылдовские окошки в толстых стенах— как будто в перевёрнутый бинокль. Просматривалось пространство аж до глухой кирпичной стены двухэтажного дома. На противоположной стороне бульвара. Напротив… А, Лёша?.. Это наш охват? Наше зрение?..

Смотрели в бинокль оба.

17. Превращение Маленького Серова в Серю Серого

…После гибели Джека под свист ремней Гинеколога (а изувеченный велосипед был только началом войны), когда к Серову пришла простая истина, что извечная боязнь подростками взрослых – это пережиток, рудимент вроде пятнадцатого там какого-то позвонка, вроде аппендицита… Серова за какие-то месяц-два вообще стало не узнать – Серов, что называется, во все тяжкие пустился. Хулиганил в школе, сбегал с уроков, двойки пошли, колы. По субботам регулярно дрался с Трубой. (С Трубниковым из 6-го «Б». Тот уже замучился с Маленьким Серовым, ничего не мог с ним поделать.) Хотя и небольшого росточка был, но из гимнастёрки у него наружу к этому времени бурые, неловкие, в цыпках руки вылезли, с которыми он не знал что делать.Подпоясываться уже приходилось, подпирая дых. Всё было мало, в обтяжку,из всего вырос. Гинеколог и Дочь наседали с новой формой. Дико отбивался— словно терял кожу… Прошёл мимо окон своего дома с большой сигарой в зубах. Сделав круг, снова шёл. С той же сигарой. Поглядывая на окна, кидая дымные бакенбарды, усы… На попытку ремня впервые так шибанул Гинеколога крепеньким плечом, что упала ей со стены на голову его прошлая детская ванночка. Подолгу смотрел на подпольное гинекологическое кресло,закутанное брезентом. Смотрел, как смотрят на сокрытую наглухо скульптуру. Которая раскрывается, видимо, только по ночам… Однажды брезент исчез. «Скульптура» была украшена цветами… Мужественная Гинеколог теряла силы. «Ра-азбойник! В колонию! В ко-олонию!» – слезилась она подобно глыбе льда в опилках с мясокомбината, откинутая на диван. Дочь бегала, набрасывала на лоб ей мокрое полотенце, брызгалась валерьянкой в рюмку…

За какие-то полгода здорово насобачился на бильярде. Стал обколачивать даже взрослых, опытных бильярдистов. Летом играл в парковой бильярдной. Окружённый юными болельщиками,На Интерес. («Сегодня Серя Серый дал Бундыжному фору два шара!») Маленький, влезал с кием на борт, распластывался. Как электричеством ударенный лягушонок – дёргался: длинный шар с треском всаживался в лузу. Восьмой! Партия!Восставал почтительный гул. Бундыжный кидал деньги на сукно. Отходил, запрокидывал пиво. Скучающе Серя Серый гонял на кию мелованные ленты. В бильярдную теперь всегда входил стремительно, серьёзно. За ним, шлейфуя, торопились сверстники. Из стойла выдёргивал кии. К свету вскидывал. Как выстрелы. Но нет – не то. Один, второй, третий – кии летели обратно в стойло. «Шехтель!» Маркер Шехтель выносил Кий. Кий Сери Серого. («Вчера Серя Серый сделал Бундыжного на двадцать». – «На двадцать пять!») Бухгалтер Бунд*ы*жный в раздумье смотрел на Серю Серого. Протягивал пиво. Бутылочное. Серя Серый игнорировал – на работе. Взбирался с кием на борт. Резко дёргался. Длинный шар вспарывал лузу. Глаза Бундыжного, как глаза отца,были спокойны. Он задумчиво отсасывал из бутылки. Маркёр Шехтель подставлял Б*а*нки. (Командировочных.) Серя Серый и Бундыжный на двух столах их кололи. Вечером кучерявый Шехтель кучеряво смеялся. Он был туберкулезник. Заговорщицки подмигивая, он словно грел руки над скомканными десятками, пятёрками, трёшками, выкинутыми Серей Серым и Бундыжным к нему на столик. Отсчитывал долю Сери Серого. Серя Серый кидал ему пятёрку. На молоко. Протягиваемую бутылку задумчивым Бундыжным… запрокидывал как трубу. Шехтель поглядывал на них,всё посмеивался, всё грел руки над красными бумажками. И полоскал красным стёкла бильярдной проваливающийся закат…

Пиво разило сильнее водки. Оконтуженные Мать и Дочь, не помня как, отправили Серю Серого в Свердловск. К Родному Дяде. Родной Дядя был офицер. Преподавал в Суворовском. По утрам, как только начинало светать, гонял Серю Серого по набережной Исети. Взмыленный Серя Серыйб*о*цкалкирзачами по асфальту, встряхивая армейскими трусами-юбками. Жена

Офицера радовалась. Подманивала на кухню: «Серик, Серик, – кашка!кашка!овсянаякашка!» Через неделю, наколотив денег в местной бильярдной, Серя Серый трясся в поезде, оставив Офицеру с Женой записку: «Поехал в Москву, а потом домой. Любящий вас Серик». Офицер не стал догонять Серю Серого. Всё пошло по-старому. Больной чёрный Шехтель радостно смеялся. Казалось, что он кашляет сажей. Бундыжный вынимал и задумчиво прокатывал свояка в лузу. Серя Серый,пролентив кий, лез на борт. Но ко всему прочему нужно было как-то избавляться от денег, тратить… Серя Серый вёл Сопровождающих в «Шар Смелости».

Мастер спорта Константин Сергеев дело знал туго. В смысле, хорошо.Ударил по стилягам-кузнечикам мадеин*и*сто. Транспарант рычал над «Шаром Смелости»: Mudagonkasuper-r-r!!!Кузнечики скакали в «Шар Смелости» стаями. Брюки Сери Серого были нормальными. Сорока шести сантиметров. Навертевшись головами до умопомрачения в «Шаре Смелости», наглотавшись дыму, треску, своей тошноты, Сопровождающие выпадали из «Шара Смелости». Серя Серый вёл их к каруселИ.Летали кр*у*гом на цепях,вертелись, стукались, хохотали. Вертелся, брызгался солнцем и снова летел зелёным холодом лес.

По-стариковски, сидя, спал в центральной аллее Запойник. Чистильщик обуви. Рыжины на голове его торчали как камышовые метёлки на болоте. Вздрогнув со сна, ударял щётками в ящик. Будто чумной заяц лапками в барабан. Пугая отдыхающих. Резко обрывал, поникнув. Но чуть погодя – снова на всю округу: Трра-та-та-та! И поник, щётки свесились… Серя Серый ставил ботинок на ящик. Лысина Запойника начинала взбалтываться перед Серей Серым – будто в камышах вода. В заключение делал из бархотки большую гармонь – проигрывал по ботинку Сери Серого. Сперва по одному, затем – по другому. «Порядок, пан цесаревич!» (Почему пан, да ещё— цесаревич?) Чистили обувь и кто пожелает. Сопровождающие… Настегать бы всем панам хорошо прутом по жопкам, чтоб бежали да подпрыгивали, в том числе и сам «цесаревич» впереди, но Серя Серый считал, что даёт заработать Запойнику. И тот сумасшедше отрабатывал щётками. Когда ватага отваливала, кидал два пальца к виску: «Удачи шалопаям панам!» Вот это уж точно – шалопаям-панам!

В парковом летнем ресторане«Дубок»у раскрытых двух столиков, полностью раскрытых вечерней чашке неба, сидели раскрыто совершенно, откинувшись, сыто поикивая, сопя. Заказанное шампанское подано не было. Так же, как и пиво. Но закуска по меню – вся. Истреблена и побита полностью. Включая пять видов мороженого. Серя Серый выкладывал деньги. На чай не дал. Обижен. Обслужен не полностью. Раскидались и висели на обшарпанной волне парковой скамьи. Некоторые уснули. От танцплощадки прокурлыкал саксофон. Скоро танцы. Нужно было познакомить Серю Серого с Чувихой. Сопровождающие беспокоились о Сере Сером. Серя Серый вставил в рот сигару. Повели… На танцах яростно дур*и*ли саксофоны. Непримиримые. Вертя, кидая, дёргая партнёрш, кузнечики долбились в рокэнрольной ломкой тряске. Чувиха походила на плодоножку. Она стучала стильным траком, бдабд*ы*кая в губах всю жвачку ритма. («Бдаб-бдыб! Бдаб-бдыб!») Сигара подведённого к ней Сери Серого торчала гулей. «Маг есть?» – спросила у него Чувиха, по-прежнему бдабдыкая, немт*у*я. У Сери Серого мага не было.«Чего же ты тогда?Чув-вак?..» – Трак стукал. Удивлённый. Один. Без лицевой чувихинойнемт*о*вки. «Иди, гоняй шары…» Ногтем выщелкнутая сигара Сери Серого ракетой кувыркалась к зелёному туману дерева у танцплощадки. Осыпалась там, пропала. Серя Серый пошёл. Гонять шары. Облегчённый.Ноги ходко несли его. Огорчившись, Сопровождающие еле поспевали за ним. Шехтель сразу подставил ему Банку. Без понтярщины, без долгих царапаний на сукне кием «рабы не мы – мы не рабы», Серя Серый сразу расколотил Банку. В восемь – один за другим – пушечных шаров. Не дав даже Банке попробовать кием. Оглушённый, забыв правила передвижения, Банка шёл к выходу задом. Судорожно отираясь платком и бормоча

«понимаю, бывает, понимаю». Смех от сгнивших лёгких Шехтеля походил на хлопья сажи. Были тихо задумчивы прокатываемые шары Бундыжного…

Может быть, кататься бы так Маленькому Серову и дальше – кататься беспечным шариком бильярдным, ширяемым киями – да только кончилась однажды у Серова игра, и кончилась разом… Сырой промозглой осенью умер Шехтель. В высокой лесной просеке к кладбищу покачивался он в гробу высоко, точно чёрная головня, укутанная белым. Как испуганные тонконогие чёрные птицы, изросшие из одежд, переступали за ним евреи. Они подлезали под гроб. Чтобы выше он был. Стремили словно его в расколотое чёрной просекой небо. Стремили – и не отпускали, не могли отпустить. Продвигали гроб неотвратимо к могиле – и, слитые с ним, единые – словно утаскивались им, уводились… В осеннем мягком пальто стоял с обнажённой головой Бундыжный. Отяжелев от печали, словно слушал задумчиво он, как колыхались люди в чёрном за гробом мимо. Прибежал Серов. Увидел лихорадящихся людей, гроб над ними, увидел встрёпанные рыжины Запойника, будто поджигающие чёрный гроб… бросился к Бундыжному, припал, ужался как мышонок… Ударяли в ухо мальчишке влажные, тяжёлые срывающиеся удары изношенного пивного сердца…

Бундыжный уехал из городка. Навсегда. Первое время Серя Серый бодрился: ну что ж теперь – умер человек, другой – уехал. Начал было ходить КОфицер*а*м (в бильярдную Дома Офицеров). Но что-то случилось с Серей Серым. И это сразу увидели все: и профессионалы с киями и бутылками, и Сопровождающие… Серя Серый стал… жалеть Банок. Перестал их колоть. Делал подставки им, хорошую, благоприятную раскатку, всячески тянул игру,давал играть им, выводил их, вытаскивал на ничью, а если и выигрывал – то только чтобы деньги уплатить маркёру за время… Как сказали бы в цирке,Серя Серый потерял кураж. Рукоплесканий не было. Сопровождающие по одному отваливали: Серя Серый сгорел, Серя Серый сшизился. Профессионалы хмурились, стали обходить его как больного. Сам Серя Серый, казалось, ничего не видел и не слышал вокруг – всё учил Банок игре…

Ещё раза два приходил в накуренный, тонущий подвал с лампами, похожими на сонные дыни. Робко ходил вокруг играющих, которые по-прежнему ложились с киями на сукно, выцеливали комбинации. На нём был серый, немного великоватый ему, костюм, в котором он походил на маленького взрослого человечка. Потом перестал в бильярдную ходить совсем. После школы сидел дома. Часами. С остановленными, широко раскрытыми глазами, с раскрытой тетрадкой, в которой не было написано ни строчки. Старался не слушать осторожную возню собирающих его в Свердловск.

На привокзальной площади станции «Барановичи» Серов ел из большого кулька купленные им сорокакопеечные пирожки с ливером. Ел так, как будто прибыл с Голодного Мыса. «Да что же это ты, Серёжа…» – в растерянности оглядывались Мать и Дочь, огруженныесеровскими вещами. Уже подхромал какой-то пёс с заслуженным иконостасом катухов на груди. Прилежно ждал с подготовленными глупыми глазами. Серов бросал ему половинки. Пёс хватал пастью влет, проглатывая мгновенно. Молодец, Джек. Рубай. Пока ещё можно. «Да что это ты, Серёжа… Что это ты…»

Мать и Дочь спешили за вагоном, налетали друг на дружку, пытались махать окну, где должна была быть голова Серова.

Поезд ушёл.

В парке облетали, сыпались с дубов жёлтыми стаями листья. Потом забытый хрустальный пр*о*ливень мыл и мыл золото на земле вокруг заколоченной чёрной бильярдной, подняв и удерживая над землёй красной медью вылуженный свет.

18. Подаренная старинная пишущаямашинка

Как перед уходом показал Серов, Кропин довольно-таки смело закрутнул листок в пишущую машинку.С запертым дыханием ткнул раз, другой в чёрные буковки. Одним – средним пальцем. Будто однопалый инвалид. Так, по две, по три буковки и стал печатать. Ме… ня…емодноко…мнат…нуюиком…натусдву…мясо…седямина полутора…ком…нар…нат… ную…

Дело шло медленно, туго. Всёвремя палец словно обжигался. Не о те буквы. Надо было согласиться, оставить текст объяления Серёже, напечатал бы нормально, так нет – сам!

О каком-то там Штрихе, чтобы исправлять – какая речь у новоиспечённого машиниста? Приходилось этак небрежно (профессионал!) выдёргивать испорченные листы, чтобы так же лихо закручивать новые. Только этому и научился.

Кое-как нашлёпал одно объявление. (А надо-то – с пяток хотя бы.) Отложил лист, перевёл дух. Взгляд столкнулся с неузнаваемыми – весёлыми— глазами Жени Серовой. На фотографии. На стене. Вздрогнул даже… Сначала смотрел на неё любуясь. Потом, не отдавая себе отчета, сокрушался. Точно знал её и такой когда-то, в своей молодости, точно теперь она – старуха.Супруг её на противоположной стенке был по-юношески голоден, тощ, но горд и значителен. И почему-то в шляпе.

Осторожно Кропин дальше стал нашлёпывать. Как всегда, когда оставался один в чужом жилище, чувствовал себя неуверенно, стеснительно: с места не вставал, ничего не брал на столе, не трогал. Лишь посматривал на оставленный ему ключ. От комнаты. Хотелось пить, во рту пересохло, но к стакану, к чайнику на кухоньке не шёл, терпел – на улице где-нибудь…

В прихожей вдруг зашебуршилось в замке. Кропин хотел крикнуть,что открыто, но в дверях уже стояла Нырова. И тоже – с ключом в руке…

И вытаращились они в изумлении друг на дружку. Будто два вора-домушника. Которые неожиданно встретились на сломе. Один уже работает,а другой – вот только ломанулся…

Нырова закрыла рот, сглотнула. Вильнув взглядом, спятилась за дверь.Кропин замер, удерживая случившееся в себе, не выпуская его в комнату.Начал дико, мучительно краснеть.

Снова открылась дверь… Хватаясь за край стола и стул, Кропин судорожно поднимался…

Но его не видели. Силкина и Нырова уставились на высокую чугунную старинную машинку на столе. Уставились, как на завод в миниатюре, фабрику, как на раскрытую наконец-топодпольную типографию.

– Чья машинка?

– Где? Какая?

– Вон – на столе?..

– Ах, эта-а?..

Покраснев ещё гуще, чувствуя, что катастрофически дуреет, Кропин зачем-то начал длинно, путано объяснять, что машинка эта была его, Кропина, когда-то, вернее, даже не его, а соседки, Вали Семёновой, старушки, которая умерла три года назад, а потом она попала к нему, Кропину (??!), машинка, машинка попала, родственники не взяли, а мне – память, понимаете?,просто память, мы дружили с ней тридцать лет (??!), с Валей, с Валей Семёновой, и вот она, машинка, у меня осталась, а потом пришёл Новосёлов,Саша (??!), ну в гости, понимаете?, чайку попить, а машинка – стоит, на тумбочке стоит, короче – мы её в мастерскую, там – корзину сменили, ну шрифт,шрифт новый поставили, потом смазали, то сё, вечная, говорят, ну мы её с Сашей – и Серёже Серову, сюрпризом, на день рождения… А собственно,какого чёрта?..

– При чём здесь Серов— шофёр, слесарь?.. – подлавливала Силкина.

– Да он же писатель, понимаете? Талантливый писатель! Ему же онанеобходима, нужна!

Силкина и Нырова переглянулись.

– И что же он написал? Если не секрет? Где? Что?

Кропин уже искал на книжной полке журнал. Сиреневого цвета журнал. С сиреневой обложкой. Нигде не находил. «Сейчас! Обождите!» Ринулся из комнаты.

Через несколько минут вернулся. Журнал – в руках.

– Вот! Вот! Смотрите! – как слепым, как глухим подсовывал под нос развернутый журнал. – Вот! «Рассыпающееся время». Повесть. Автор – Сергей Серов! Видите?.. У Новосёлова взял. У Саши… «Рассыпающееся время»…

– Почему у Новосёлова? При чем здесь Новосёлов? – окончательно дубела, зло упрямилась Силкина. – При чём?

– Да господи! Подарил он ему. Серов подарил. Новосёлову. И у меня есть. И мне подарил. А? Непонятно?

Старик рассин*и*лся весь от волнения. Склеротичность его была очевидна. Силкина избегала смотреть на него. Уходя, пробурчала:

– Должна быть зарегистрирована… Скажите ему…

– Да когда это было! Когда! Регистрации ваши! – Кропин замахал листками. Своими. Отпечатанными: – Вот они, листовки! Воззвания! В трёх экземплярах! Только что отпечатал!.. А?..

Вот тут уж было что ответитьСилкиной. Это было по её части. Спокойно-утверждающе, можно даже сказать, по-матерински, начала она журить неразумного старика. Она же обязана была выяснить Все Обстоятельствас этой машинкой.Д-да, обязана. Нельзя же быть таким доверчивым,наивным.В такое время. Олимпиада на носу! Нужно понимать это. Даже неудобно становится за некоторых наивных людей,стыдно,д-да!..

Ну конечно, а ковыряться в чужих замках, лезть в чужую жизнь,в постели – не стыдно. Как же – необходимо. Д-да, уважаемый Дмитрий Алексеевич, необходимо. Вы, как коммунист… Право, странно даже слышать такое!Что же всё пустить на самотёк?Кропинсел на стул, отвернулся. Нет, позвольте, уважаемый Дмитрий Алексеевич! Кропин сгрёб листки, пошёл к двери.

– Закройте тут после себя…Ключи у вас есть…Целая связка.Подберёте…

От удара двери выскочил из щели таракан. Тут же обратно юркнул в щель.

Силкина стукала белым сжатым кулачком в стол.Нырова не решалась заговорить, опасаясь крика, ора. А всё же не выдержала – стала нашёптывать,преданной начётчицей наговаривать…

Люди подходили, вставали напротив автоматов с газировкой. Получалось, стенка на стенку. Мелькали кулаки. Автоматы содрогались. Но не отдавали. Ни воду, ни деньги. С картами в руках из будки чистильщика обуви поглядывал настройщик автоматов. Сбрасывал карту внутрь будки. Хихикал. Железные воспитанники стояли крепко.

На первый раз Кропин сдержал себя. Вторую закинул монету. Ждал,тупо уставясь на стакан. Шарахнул кулаком. Поспешно отшипело с полстакана. Залпом выпил. Больше трояков не было. Искал разменный ящик. Старушка подала монетку. На Без Сиропа. Большими глотками пил пустую жгучую воду. Словно ежей запускал в себя. (Настройщик автоматов страдал, глядя из будки.) Напился Кропин.

Нужно было теперь за продуктами. Дождавшись светофора, пошёл с толпой через дорогу.

Внимательно, осторожно передвигался с продуктовой коляской по универсаму. Брал банку или пакет. Отстраняясь, читал надписи. Разочарованно клал на место. Двигался дальше.

В большой ящик, как собакам, начали выкидывать из окошка зафасованные в плёнку, уже взвешенные и оцененные куски колбасы. Люди поспешно подходили к ящику, хватали. У

Кропина была колбаса. Дома. В холодильнике. Граммов двести. Сосисок бы. Яше. Кочерге… Заглянул в окошко. Как насчёт сосисочек сегодня? А, товарищ продавец? Сосисочек бы…

Оседлав перед автоматом стул, в белый халат затиснутая, торопясь, работала толстыми руками фасовщица. На миг только повернула к Кропину круглое лицо. «Ну ты даёшь, дед!» Кропин отошёл в смущении. Постояв,снова приблизился. Тогда кусочек бы. Грамм на двести. Двести пятьдесят.Для Яши. Ему швырнули граммов в восемьсот. Ничего, поблагодарил. Отошёл.Положил в коляску.

Дома Чуша опять домогалась ключей от комнаты Жогина. Чтобы засунутьв неё свой шифоньер. Временно, Кропин, временно. Пока наш художник ездит где-то. Халтурит. А?Упрямый ты старик!

Кропин был твёрд, доверенные ему ключи – никому! Ставь в коридоре. Раз в своей комнате с ним (шифоньером) не помещаешься.

Разговаривая по телефону с Кочергой, старался не слышать грохота падающих в ванной тазов. И хотел скорее кончить разговор и уйти к себе, но Кочерга, по-видимому, не слыша этого шума и грохота, в каком пребывал его друг Кропин, продолжал неспешно, посмеиваясь, что-то говорить.

Тазы подвешивались на стену и хулигански сдёргивались. Выплясывали в железной ванной. Кропин малодушно вздрагивал. Эко её! Поранится ещё там. Поглядывал на потревоженного паука под потолком. Который уже напыживался. Который уже дёргал свою паутину, сердито сучил её.

Чуша в ванной хохотала. Сожитель бегал, отпаивал валерьянкой. Полностью луповый выказывал Кропину глаз.

Ночью снился диковатый странный сон. Виделся зал огромного незнакомого универсама, придавленный низкими потолками, с которых осыпался душный свет люминесцентных ламп. Почему-то совершенно пустой был универсам. С пустымивитринами, полками. Без единого продавца.

Вдруг откуда-то стали появляться и двигаться в разных направлениях проволочные продуктовые коляски, направляемые женщинами. Однако все эти коляски тоже были пусты – без пакета, без мешочка крупы, без банки. И всё больше, больше их становилось. Десятки их уже перекатывались, сотни,по разным направлениям, пересекаясь, объезжая друг дружку… Вдруг словно сами коляски сбегались на одно место. Словнона кинутое зерно. Начинали ударяться, щебетать, как птицы… Но на полу женщины видели только песок. Обыкновенный песок. Серый. Обманутые, расходились… Опять сбегались с колясками, ещё громче щебетали… И опять обман… И женщины ходили и ходили за колясками, плакали, мучились. И ни одна не уходила из универсама… И таким же мучительным и нескончаемым был этот сон…

Уже пил чай утром, а приснившееся ночью почему-то не уходило. Покручивал головой, словно брал сон на ухо. То на одно, то на другое. Со стариковским уважительным суеверием прикидывал его к себе. И так, и эдак.Искал смысл в нем, Закономерность.

Рассказал Кочерге. Вечером. «Да ты всю жизнь в снах, – смеялся Кочерга. – Ты! Пихта! Увешанная туманами!» Но Кропин всё качал головой.Не-ет, тут что-то не так, неспроста-а. Сон был, видимо, из тех, что аукается и через годы. А? Яша? Кочерга смеялся.

А оставшись ночевать, Кропин увидел такой сон: где-то в сельском клубе… или заводском (маленький он был, с тесной высвеченной сценой) какой-то человек, то ли председатель колхоза, то ли заводской начальник, стоя на сцене, – состроил громаднейшую фигу. И поднял её высоко.Строго пошевеливая ею… И все в зальце тоже сразу стали заворачивать фиги. Вскочили и в ответ завыказывали ему. Ну который на сцене. Пошевеливали. Любовались ими. Являя собой человек полтораста старательных кукловодов…

Кропин перекинулся на другой бок – и пошла сразу словно бы вторая часть сна, продолжение первой. За стол в красном бархате сел президиум.Докладчик убрал на время фигу и начал большой рассказ. О текущем. Из зала к столу повадились бегать слушатели, пытаясь сдёрнуть скатерть. Дёргали её, тянули. Президиум сразу падал на скатерть, цеплялся за неё, держал. Слушатели убегали обратно. Докладчик гудел. Через какое-то время выбегали уже другие, снова тащили скатерть. Как бы втихаря. Чтобы не увидел докладчик. Лежащий президиум дёргался, крепко держал. Убегали. В президиуме переводили дух, обменивались мнениями. И так – несколько раз: выбегали, тянули, пытались сдёрнуть, а там – сразу падали, изо всех сил держали. Наконец докладчик снова поднял над собой фигу и понёс её, как звезду, куда-то в темноту закулисья. Все сразу полезли на сцену, запрыгивая на неё. Поспешно строились в сплочённость, в марш. Президиум не нравился, его отталкивали. Кропин, маршируя со всеми, на затравку, на подхват первым вдохновенно запел: «Партия – наш руль-левой, партия – наш руль-левой! Тра-та-та-та!» Пошёл в темноту, как на рыбалке задирая высоко босые ноги. Вниз куда-то загремел…

«…А? Яша? А это к чему?» – спросил утром. Кочерга опять хохотал.«Ну, пророк! Ну, мессия! Да тебе ж цены нет! Трансмедитатор!» Дохохотался до того, что начал кашлять, задыхаться, синеть. Кропин его по горбу постукал. «Не видят сны только бараны, Яша…»

19. Дмитрий Кропин и Зинаида Кочерга в январе 40-го года

…Почтовые ящички на стене чернели, будто ящички брошенной голубятни.Кропин прошёл уже мимо них… и вернулся. Его ящичек был приоткрыт. Кто-то оставил еле приметную щель. Щелку. Тоньше мышиного писка… Кропин дёрнул дверцу. В ящичке лежала газета. Институтская многотиражка. Аккуратно сложенная неизвестным вчетверо… Уже зная, что увидит в ней, но не веря, торопливо вышел под лампочку, к свету.

Заметка была на четвёртой страничке, внизу. Размером с траурную рамку… «Я, Зинаида Кочерга, урождённая Желябникова, и мой сын Андрей заявляем…»

На тёмной улице имени Горького метался меж движущихся, ослепших от мороза машин. Приседая, просяще осаживал их рукой. Машины надвигались, слепили глаза и убегали, тяжёлые, как медведи…

Скрежещущего где-то вверху лифта ждать не мог, хватаясь за перила,кидал себя наверх через две, через три ступени. Задыхался перед дверью на шестом этаже. Затравленно смотрел по всей её шершавой дерматиновой черноте, уползающей, казалось, в небо. Сдёрнув шапку, рукавом пальто грубо вытер со лба. Нашарил кнопку, надавил. Сразу же упала цепочка. В дверях стоял руки в бока Отставной Нарком. В пижамных своих штанах, в майке, по плечам и груди в жёсткой седой шерсти. Предваряя вопрос,подсунул к лицуКропина кукиш. Прополыхал затхлым золотом коронок: «Видел?!» Захлопнул дверь.

Кропин, трясясь, спускалсяпо лестнице на ломких, дрожащих ногах. «Шкура! Свиная барабанная шкура!..»

Он сидел у стола в полутёмной коммунальной кухне. Сронив к полу, как оборвавшуюся петлю, скользкий шарф. Над чернеющей его головой тонул в промороженном окне сахарок луны.

Опять бубнили, ссорились за стенкой недавно въехавшие соседи – муж и жена.

В кухню вошла Валя Семёнова.

Смотрела на поникшего Кропина, не решаясь окликнуть… Включила свет. Тихо поздоровалась.

Подобрав полы халата, начала взбираться коленями на подоконник, к форточке. К своим баночкам, кастрюлькам, свёрточкам. Проверяюще, как звонарь, пробовала там верёвками. Полезла рукой в двойное окно, будто в пазуху, некрасиво изогнувшись. Одна тапка соскользнула на пол. От неудобства положения вздрагивала женская тупая ступня с растрескавшейся пяткой.

Разобравшись с кастрюльками, опять стояла и смотрела на опущенное лицо недоступного ей мужчины…

«Ну что, Митя, – устроился?..»

«?!»

«Работу нашёл, Митя?»

«Устраиваюсь… Ищу…»

Нужно было уже уйти. Больше уже нельзя было стоять тут. Нехорошо.Стыдно. А ноги не шли, и в груди всё стеснялось в безнадёжности…Спросила, потушить ли свет?

Кропин молчал.

Тогда свет словно осторожно сняла, опять оставив кухне только мерцающий нажог окна.

Уходила по тускло высвеченному коридору, приклонив голову к плечу, словно уносила не кастрюльку, а терпеливую женскую свою надежду, женское свое ожидание: ничего, ничего, всё образуется, нужно только ждать…

И опять светил сверху сахарок луны. Словно набивал теперь колким морозом стакан молока на столе. Который осторожно оставили Кропину.

…Сначала он руководил каким-то арестом или обыском в пустой, ярко высвеченной комнате, где весь паркет, однако, был усеян бумагами. Он нервничал, поторапливал подчинённых. «Быстрее! Быстрее! До рассвета нужно успеть!» Длиннополые шинели ходили быстро. Будто размашистые серые метели. А он всё подгонял и подгонял. Или ощупывал зачем-то кобуру пистолета, точно хотел в следующий миг стрелять…

Потом он попалв какую-то тесную комнатёнку. К Зинаиде Кочерге.(Словно бы где-то на окраине это было, в частном домишке. Где хозяин, сопроводив, сразу спятился с улыбочкой, исчез.) Под низким потолкомтрÿсила умирать лампочка. Осела, пьяно разъехалась рожа трюмо. Базарные висели по стенкам тряпки с лебедями и девками…

С резким скрипом Зинаида вскочила с кровати, схватилась за спинку её.

– Зачем вы сейчас?! Зачем же?! Я не готова! – неукротимый рвался шёпот женщины. – Я не готова, слышите?!.

Кропин был в шинели, в фуражке, в ремнях. Кропинне знал, что говорить. Сдёрнул фуражку, прыгающей рукой вытер пот со лба. Фуражка выпала из его рук. Зинаида кинулась поднять – удлинённые упругие груди её метнулись с ней, передёрнулись в прорези рубахи. «Вот! Вот!» – совала ему фуражку. Отпрянула. Груди замерли.Кропин старался не смотреть, всё отирал лицо…

А уже через минуту в сумраке угла, на скрипучей её кровати, руки его словно бредили, уговаривали эти мечущиеся стерлядковые груди. На запрокинутом лице женщины полыхал быстрый шепоток:

– Ну что же вы? что же вы? Скорей! скорей! Хозяин, соседи!..

И он лез и лез к этому плачущему, со стиснутыми зубами лицу, лез словно по нескончаемым корням деревьев, свисая с них, болтаясь над пропастью…

Потом женщина плакала на кровати.

Серая шинель застыла в зеркале трюмо. Захлёстнутое ремешком лицоточно повесилось в фуражке. Глаза закрыло оловом. Бляшками. Которые вдруг начали плавиться,стекать, обнажая вылезающие, разом осознавшие всё глаза…

Кропин взметнулся с подушки. Как жаба мошку, хватал, заглатывал воздух.

Остро горел весь нажог окна. Где-то за ним, выдыхала тёмные тени луна.

Привычно уже, как на работу, Кропин шёл утром к метрополитену. Было морозно, как и в предыдущие дни. Будто заброшенная в небо головёшка, дымилось солнце. Зябли, бежали, тащили туманцы машины. Толстые и медлительные, как битюги, подносили бурые кулаки к усам милиционеры. Палки вниз точно сплёвывали. Как слюну…

Пролетев под землей два перегона, Кропин всплыл с эскалатором к переходу на соседнюю станцию. На широкой каменной лестнице густо сутулились спины людей. Кропин присоединился, поспешно закарабкался со всеми.

Теснился с людьми в арке. И вдруг увидел Зинаиду. Столкнулся с ней…Растерянно двигались со всеми дальше. Не здороваясь. Плечо в плечо.

Толпа отторгнула их в один из метровскихспецхрамов. Придавленные низким замкнутым небом его, стояли возле угольно лоснящегося божка с куцым лбом, мрачно нюхающего свои усы. Стояли дико. По обе от него стороны. Словно были в почётном карауле. Точно клялись на верность!..

– Как ты могла?!– не вмещались в глаза Кропина текущие и текущие на него люди.Словно по какому-то уроку он должен сосчитать их сейчас всех— сотню, тысячу, десять тысяч – и тогда всё решится.– Как ты могла предать его?! Как?!..

В злых глазах Зинаиды прыгали шляпы, шапки, тужурки, пальто, полушубки, людишки.

– А ты? Ты сам? Вы думали, когда устраивали свои посиделки?! Думали?! Чем думали?!

– Но ведь он муж твой! Отец твоего ребёнка! Ведь вы же с ним… И ты отрекаешься от него… Подло, коварно…

– А-а! Вон как заговорил! Пожалел дружка! Пожалел волк кобылу! Да ты же не зря отирался возле нас! Ты же по мне воздыхал! Я была нужна тебе,я! Я – лакомый кусочек! И сейчас воздыхаешь! Ха-ха-ха! Ты же рад, что Яшка сгинул! Рад!.. Только… только – вот тебе!..

В точности, как отец её,она подсунула ему кукиш.

Кропин мотал головой: «Неправда, Зина, неправда… Опомнись…»

А Желябникова уже шла от него на стройных злых подпрыгивающих ногах в коротком стройном пальто с подпрыгивающей чернобуркой…

Точно теряя сознание, Кропин проваливался с эскалатором обратно вниз, хватаясь за горло, сдирая шарф, шапку. «Вам плохо, товарищ?» – участливо спросила девушка, стоящая на одной ступеньке с ним. «Товарищ?Вам плохо?» «Гадина! Мразь! – вдруг начал бить кулаком по резине Кропин. –Продажная гадина!» Девушка прыгнула от него. Вверх через ступеньку.С испугом вместе с другими смотрела, как приличный на вид, хорошо одетый мужчина, точно пьяный, бил и бил кулаком по резине эскалатора и выталкивал только из себя: «гадина! продажная гадина! Тварь!» Бил и раскачивался, бил и раскачивался…

20. Концерт

Первый раз в Москве Александр Новосёлов попал на концерт симфонической музыки случайно. Без пятнадцати семь он оказался на площади Маяковского неподалёку от памятника Поэту. Было душно. В августовский пылающий вечер по Садовому вниз улетали машины.

В названии фильма на кинотеатре «Москва» было что-то знакомое.Филармония стояла без всяких афиш. Величественная, надменная.

Только со стороны Горького нашёл расписание концертов. Концертов сезона. Абонемент. Сегодня – концерт симфонической музыки. Оркестр филармонии. Чайковский, Равель, Дебюсси.

Каждый меломан, прежде чем взять билет, долго оговаривал перед окошком свои условия. Наконец отходил от кассы. Почему-то всё равно недовольный. Строго разглядывая билет. На его место вставал другой. Чтобы тоже начать требовательно оговаривать. («А мне только седьмой! И крайнее место!»)Затвердев лицом, билетёрша била в билеты печатью.

Стоя в очереди, Новосёлов посматривал на странноватую группку молодых людей, разгуливающих вдоль длинных окон вестибюля. А роли у них были распределены так: один, кучерявый, крепенького сложения, но в великоватом фраке, заныкал вдоль руки под мышку флейту, носил её, согревал.Он был, по-видимому, уже большой виртуоз. Трое других были без флейт,без фраков – ходили с ним, точно его оберегая, гордясь им. С превосходством поглядывали на посторонних (на Новосёлова в том числе). Наперебой курлыкали виртуозу. Для публики, однако, больше старались, для публики.«Какое фа-диез вчера ты спел! Как-кое!» «А в шестой, в шестой цифре! Вообще гениально! Туши свет!»

Виртуоз ходил, улыбался, однако с беспокойством поглядывал на входную дверь. Увидел, наконец, входящую Даму Сердца. Подбежал, подхватил, и они ушли с флейтой, как с грудным ребёнком, мимо контролёров в фойе. Почитатели блаженно, растроганно смотрели вслед. Билетов у них, по-видимому, не было. Однако тут же сбились в кучку, начали охлопываться.Будто на троих соображать. И понесли горстку мелочи. И, улучив момент,ловко ссыпали её в олампасенный карман. Старик-билетёр передёрнулся как от тока, не стал иметь к ним никакого отношения. И они, до конца не веря в такой исход, нерешительно пошли дальше, слегка подкидывая себя, точно проверяя свое присутствие здесь, в этом фойе, перемигиваясь, потирая руки.Радуясь.

Новосёлов с улыбкой смотрел, забыв, что и ему нужно идти. Но когда подавал билет и увидел вблизи лицо старика, – улыбка сразу ушла… Как старые спадающие штаны, старик поддёргивал свисшие подглазья. Руки, рвущие контроль, прыгали, тряслись. В провалившейся старческой коже возле большого пальца казался чужим, неправдашним, наколотый в молодости якорь…

От неожиданно увиденного, стариковского, горестного, стало на душе тяжело. Новосёлов торкался в зале, не мог найти своего места, не понимал,зачем вообще он тут. Как слепого, какие-то старухи в позолоченных куртках его направляли. И он очутился на самой верхотуре зала. Зала словно бы циркового. Раскинувшегося полукругом. Присел там где-то.

Оркестр был уже на месте. Ждали дирижёра. И он явился миру, белогрудый, радостный, молодой. Планировал, планировал во вставших музыкантах. Планировал. Вскочив на высокую подставку, отдал голову аплодисментам. Отвернулся, поднял руки…

Скрипачи мучили скрипки, как детей, и Новосёлову хотелось плакать.Глаза отстранялись от них вправо, к обремененным виолончелисткам, которые осторожно стукались смычками, по-матерински вслушиваясь в себя… Но начинал с раскачкой мучить музыкантов сам дирижёр, и снова сдавливало горло и наворачивались слёзы.

Постепенно музыка менялась, и скрипачи являли уже собой как бы войско, воинственно махающее стрелами. Виолончелистки и присоединившиеся к ним контрабасы вдруг очень утяжелённо, могуче завозили смычками, подбираясь к чему-то мелодичному, ясному. И грянули все, весь оркестр.Словно поднятый дирижёром на воздух.

Новосёлов перевел дух, стал отыскивать в оркестре того, кучерявого.Флейтиста.

Большой виртуоз сидел, присоседившись к двум стариканам с флейтами, послушно, ученически следил по нотам за их игрой. Когда опять играли все, он тоже играл, и тогда действительно творил чудеса со своей параллельной флейтой. Вдохновенно парил с нею. Выделывал ею волны. Ритмически тряс, играя неизвестно что. Выхватив малюсенькую флейту-свистульку,пальцами сделал козу, высвистнул резко, сильно. Ещё, ещё высвистывал, перекрывая весь оркестр.

Новосёлов долго искал в рассыпанных слушающих головах его Даму Сердца. Но не нашёл.

В антракте публика гуляла по фойе. Двумя неспешными самодовольными кругами. Кивали знакомым, перекидывались словами, свысока оценивали. Молодёжь смеялась.

Два зализанных субъекта таскали две объёмные голые дряблые рук*и* очень заслуженной артистки с медальками на мешочной груди. Заслуженная тяжело везлась, опираясь на лощёных, как на костыли. Жеманничал нарумяненный голос старухи: «Что вы говорЫте! Какая прЭлесть!»

Новосёлов, не очень-то зная, как тут себя вести, походил немного и спятился в буфет.

Несколько человек углублённо цедили воду возле высоких столиков.Точно принимали процедуру. Меж собой почти не разговаривали. Точно были незнакомы.

Новосёлов не удержался, полный стакан – выглотал. Посмотрел по сторонам. Всё спокойно. Натряс второй. И его маханул разом. Затем, как бы говоря себе, что выпил в меру, осторожно поставил стакан на столик. Не знал,что делать дальше. Про пирожное на блюдечке забыл.

С шутками и смехом, как после регистрации, как после загса, ввалил в буфет Большой Виртуоз с флейтой и Дамой Сердца и теми тремя парнями – как со свидетелями.

Виртуоз таскал бутылки ситро на высокий столик. Дама Сердца стояла.Удерживала на руке флейту как кучерявый цветок. Парни алчно разливали газировку, сглатывая… Сдвинулись над столиком пятью стаканами и со смехом расшатнулись. Стали пить. Хохотали. Снова чокались.

С улыбкой Новосёлов вышел из буфета.

Публика продолжала ходить. Словно отвоевав себе это право. При раскрытых дверях был оставлен старик. Со свисшими подглазьями который.Один. Никто не выходил на воздух, старик стоял раскрытый, видный всем,моргал иссохшими глазами, не знал куда смотреть, всё время руки кидал назад, как это делают в тюрьме, совал по очереди в карманы куртки, снова убирал назад, переступал с ноги на ногу – мучился… Новосёлов, забыв о своей напряжённости, забыв про свободных, весёлых людей, смотрел на старика, и на душе опять стало нехорошо. Стыдно и за себя, и за всех вокруг… Повернулся, пошёл в зал. Навстречу снова тащили старуху. Из-под накладного вороного крыла вышел к Новосёлову закладной вороний глаз. «Что вы говорЫте! Какая прЭлесть!»

Новосёлов после концерта тёк с толпой в сторону Пушкинской. Вывалились пепловые языки у повешенных фонарей. Под светофором линял огоньками призрачный лак машин. Как разваливающиеся ветры, неслись,удёргивали за собой палки троллейбусы.

Новосёлов поглядывал на тайные лица встречных людей, на линяющие огоньки машин у светофора, остывал от музыки, от впечатлений. В детстве своём, сколько помнил, был он

довольно равнодушен к музыке: в школьных хорах не пел, в духовом оркестре в трубу не дул. Один раз, перед родительским собранием, чтобы убить родителей наповал, загнали со всеми в классный хор. Физичка взялась махать им… Так не пел! Рот только разевал, удивляясь радостному, как с цепи сорвавшемуся рёву одноклассников со всех сторон… Долго сомневался, есть ли вообще у него слух. Хотя вроде бы песни различал. Некоторые даже нравились. Тут ВИА начали входить. Музыка их чем-то напоминала работающую сенокосилку. Какой-то нескончаемый вечерний красный сенокос. Было любопытно поначалу смотреть на работающих бесноватых музыкантов. Но и это скоро стало привычным, не задевало.

И только одно воспоминание из раннего детства, больше рассказанное ему матерью, чем самим запомненное, воспоминание, когда он, Сашка Новосёлов, попал на симфонический концерт (это в деревне-то почти!) – вызывало сейчас улыбку. Но всё это было связано с отцом, с короткой его в Сашкиной памяти жизнью, и опять, как не раз уже за этот вечер, на душе стало грустно.Концерт ли разбудил, взбаламутил всё это давнее, далёкое, неприкаянный ли бедняга-старик, так и оставшийся в дверях филармонии, ночная ли неостывающая улица большого города…

21. Папаша Куилос и тётка Гретхен

…Над весенним греющимся огородом падала первая бабочка. Тяжело побежал Сашка за ней по вскопанному, сдёргивая кепку. Упал, пытаясь зацепить, прихлопнуть. Бабочка взвилась, зашвыряла себя из стороны в сторону высоко. И оставшийся на коленях Сашка, раскрыв рот, смотрел, как она закидывала себя выше, выше. И там, на высоте, в безопасности, снова выплясывала, падала.

Слышались со двора голоса мамы и тёти Кали. Привычно ныл где-то там понизу Колька. «Ну чего тебе! чего! горе моё!» – вскрикивала тётя Каля и опять продолжала спокойно говорить с сестрой. «Чего тебе, я спрашиваю!Чего!» Голос Кольки ныл давно. Как похороны. «Ы-ы-ы-ы-ы!»

«Ныло!» – сказал Сашка, уже следя за жуком. Чёрный жук-рогач сердито путался в комочках земли. Сашка приложился щекой к тёплым комочкам – вся земля стала в небе. И жук медленно переворачивал её лапами…Сашка хотел крикнуть Кольку, но позвали в дом. Второй раз уже.

Удвинутые узким пустым столом к залезшему свету окна Сашка и Колька ели хлеб, намазанный повидлом. Запивали молоком. Кружки были высокие. Как уши. Удерживали ручки их в кулачках.

С другого конца стола, подпершись ладонями, Антонина и Калерия любовались, сравнивали. Просвеченный Сашкин чуб стоял как лес. Колькина голова стриженая – была стёсанной, пришибленной какой-то. «Зачем остригла-то?» – «Волос слабый… Вон он – родитель-то… Одно слово – Шумиха…Чего уж тут?..» – вздыхала тётя Каля.

Сашка смотрел на стену, на дядю Сашу, своего тёзку и Колькиного отца. Даже на фотографии у него пробеливала лысина в размазавшихся кудрях.И гармошку виновато развернул на коленях… «На баб весь волос извёл», – опять вздыхала тётя Каля. Сашка раскрыл рот – как это? Но мать сразу замяла всё (умеет она это делать!), расспрашивая уже, когда приедет он, гость-то с Севера, ждут ли его тётя Каля и Колька. И тётя Каля сразу закричала, что на кой чёрт им сдался, «гость этот с Севера!» Опять гармошки, сапожки, пляски его! Опять стыдобища на весь город!.. Да пошёл он к чёрту! Да и не ждут они его вовсе. Колька, ведь верно – не ждём?

– Ждём… – виновато взглянул на отца на стенке Колька. Продолжил жевать. Тётя Каля накинулась на Кольку.

– А чиво-о-о? – сразу загундел тот. – Сама говорила-а.

Может Колька реветь. Мастер. Проревелся. Будто малёк в слёзках – сидит-вздыхает. Прямо жалко смотреть. Тётя Каля его фартуком. Как ляльку.Сморкнулся с облегчением. И дальше жуёт, точно и не было ничего. Может.Чего говорить.

А тётя Каля, опять подпершись ладошками, говорила уже нараспев:

– Эх, Тонька, дуры мы с тобой, дуры несчастные. Где только таких гостей-кобелей откопали, прости господи! Один – на Севере, другой – в соседнем городе…

Сашка видел, как мать сразу нахмурилась. Стала торопить его, чтоб поставил он, наконец, кружку. Хватит дуть! хватит! Домой пошли!..

Чубы Сашки и Константина Ивановича были одинаковыми – густо свитыми. Только отца чуб стоял, белым костром бил, чуб Сашки – стремился вперёд, как навес, как крыша сарайки. Когда Калерия видела эти чубы вместе – шли ли те чубы мимо еёдома на рыбалку, ходили ли по её огороду – говорила покорно, соглашаясь с Судьбой: «Чего уж… Одна порода… Пермяки…»

Антонина останавливала колоб теста на омучнённой доске. Ждала.«Почему пермяки?»

– Да пермяк он! Пермяк! – нисколько не смущаясь, что Константин Иванович услышит, кричала Калерия. (У Калерии, когда ехала на целину, в Перми спёрли чемодан.) – Неужто не видно? А?..

Антонина подходила, закрывала окошко.

Пельменное тесто попискивало, было готово, но Антонина мяла, мяла его, отмахивая лезущую прядь со лба оголённой сильной рукой. Окидывала мукой колоб. Мяла. Отвернув лицо от сестры…

– Ну ладно уж, Тонька, ладно тебе… – винилась Калерия. Поглядывала в окно.

Ничего не подозревая, чубы покачивались поверх ограды.

В своем дворе Сашка опять тарахтел с кирпичом у крыльца Аллы Романовны. Алла Романовна точно только и ждала, чтоб он затарахтел – сразу появлялась на крыльце. С прической, как с болтающимися собачьими ушами, с выгнутым носиком – натуральный пудель Артемон из Сашкиной детской книжки. Да ещё помпоны белые на тёплых тапочках. «Иди, иди, мальчик!Сколько раз тебе говорить! У своего крыльца играй!» И словно не половичок просто вытряхивала, а Сашку с этого половика отрясала. Как блоху какую. Брезгливо. Капризно.

Упрямый, Сашка отползал чуть. Возил кирпич. Как детство свое. Стоеросовый – ждал продолжения.

Видела, что ли, мать, слышала ли – тоже выходила. Не глядя на Аллу Романовну, баюкала ступку с пестом. «Саша, иди сюда!» Сашка упрямо пошевеливал кирпич на том же месте. Он, Сашка, был центром сейчас, точкой,поверх которой, не видя её, говорили с двух сторон: «Кому сказала!» – «Да пусть играет, пусть! – спешила разрешить Алла Романовна. – Мне разве жалко?.. А хочешь, я тебе конфетку дам? А, Сашенька?..» – «Мальчик не хочет конфетки», – мстительно отвечал Сашка, буксуя.

В воротах показывалась близорукая голова Коли-писателя, мужа Аллы Романовны. Все трое во дворе сразу налаживались своими дорогами: Тоня уходила в подъезд, мельком кивнув Коле; половички зло подхватывались Аллой Романовной и уносились; неизвестно куда быстро пополз с кирпичом Сашка.

Коля посмеивался. Ничего не понимал. В толстых стеклах очков словно плавали голубые недоумевающие осьминоги. Шёл за своей Аллой в дом, на второй этаж. Однорукий, с подвёрнутым рукавом белой рубашки.

Раза два, когда Аллы Романовны не было дома, Сашка приводил брата Кольку посмотреть, как дядя Коля печатает на машинке. А печатал он – будто дровосеком в жутком лесу просекался. Одной своей – левой рукой. Лицо его говорило: не прорубится вот сейчас – всё, погибнет. Лес задавит. Однако когда прорубался – откидывался от машинки, ерошил светлые волосы. А глаза плавали в очках довольные, умиротворённые. Как к машинке – будто в жуткий лес. И замахались топоры!..

Когда прикуривал, ловко выдёргивал огонь нескольких спичек прямо из кармана. Поворачивался к ребятишкам – как факир в факеле. Таинственно подмигивал. Сашка и Колька уже знали эту шутку – смеялись.

Всегда давал по большой помытой морковине. (Морковки он ел для глаз. Полно их было у него. Морковок.)Из табачного дыма выводил во двор, на воздух. Сам садился на ступеньки крыльца. Сочинять стихи в огромный блокнот, свесив его с колена. И сочинял он в него – тоже левой рукой!

КоновозчикМылов, подпрягая, дергал в оглоблях лошадёнку, косился, будто дик*о*й конь. «Ишь, как китаец пишет, паразит!»

Дядя Коля ему подмигивал. Мылов стегал лошадь так, что удёргивался сразу за ворота. Только вохровский картуз успевал мелькнуть.

Дядя Коля странно ходил по улицам. Как будто пол проверял. На прочность. Провалится или нет. Но – где-то внутри себя… В таком состоянии часто проходил мимо дома…

На лавке у ворот ссиливалнутрецо и бросал нутрецоМылов— пьяный:«Порченый, н-назад! Куда пошёл! Н-назад, я тебе приказываю! Вот твои ворота! Марш в свои ворота! Кому сказал!»

Дядя Коля, смеясь, подходил. Приобняв Сашку одной своей рукой, с улыбкой ждал от Мылова ещё чего-нибудь. Этакого же. А? Мылов? Давай!Но Мылов ничего уже не видел. В глазах его, как в капсулах, засела окружающая изломанная жизнь. Был пуст, как небо, околыш вохровского взгроможденного картуза… «Выпил человек Маненько, – со смехом уводил во двор Сашку дядя Коля. – Маненько засандалил…»

Приезжал на день-два Константин Иванович, отец Сашки. В такие дни Сашка и Колька ели мороженое и пили газировку от пуза.

Каждые десять-пятнадцать минут Сашка колотил пяткой в закрытую изнутри дверь. В нетерпении Колька рядом переступал тоже голыми пыльными ножонками.

Открывала всегда мать, запахивая халат, посмеиваясь. С просыпанными волосами – не очень даже узнаваемая Сашкой. И приподымался на кровати отец:

– Что, уже?..

– Да! – радостно кричал Колька. – Мы ещё быстрее можем!..

Мать сразу отворачивалась к окну, то ли скрывала смех, то ли просто волосы расчёсывала… А отец тянулся за брюками. И тоже вроде как укрывался от глаз ребят…

Бежали к мороженому и газировке на углу. Чтобы скорей вернуться…

– Да дайте вы им сразу! – хохотала Антонина с закинувшейся головой,с которой проливались волосы как выкунившийсяблёсткий мех. – Сразу!Ха-ха-ха!.. – Но Константин Иванович говорил, что нельзя. Обсчитают. Вышаривал мелочь по карманам. – Ой,не могу! Уморит! – Антонина ходила, со смеху умирала. Дал всё же три рубля. (Старыми.) Мало было мелочи. Но долго наставлял, сколько должно остаться, если, к примеру, по стакану и по мороженому. По одному. Или, например, когда заказываешь по две газировки и мороженому, то должно остаться… «А если с двойным сиропом?» – хитро прищуривался Колька. Константин Иванович поворачивался к Антонине. Та вообще падала на стол… Смеялись за компанию и ребятишки.

В тесном скученном парке Сашке и Кольке казалось, что они находятся в провальном лесу. Лежали на траве раскинувшись, смотрели, как деревья подметают небо. Животики вздувало, пучило. Под качающимся шумливым многолистьем засыпали.

Константин Иванович тоже уже лупил глаза, готовый провалиться в сон. Антонина, пальчиком выводя на груди его извечные, лукавые женские вензеля, внутренне смеясь этой своей раскрывшейся способности – спрашивала: «Костя, ты в Перми когда-нибудь был?» – «Был. Проездом. А что?»Антонина сразу начинала душить в подушке смех. Ничего не понимая, Константин Иванович только подхихикивал. Дёргал её: ну что? что? что такое?«А у тебя там чемодан, случайно, не свистнули? Ха-ха-ха!» – «Какой чемодан? Когда?» – «Ой, не могу…»

Покручивал головой муж и, наверное, думал, не много ли на сегодня смеху-то. А?..

Подвязанный набитым ватой платком, Колька сидел в кроватке грустный,склизкоглазый, как малёк.

– Чего же ты?.. – спросил Сашка.

– Анхина… – разлепил голос Колька.

Помолчали. Посопели.

– Говорил, – пятое не ешь…

– Да, не надо было…

Взобравшись коленками, стояли столбиками на лавке у стола, рассматривали Альбом. С пасмурных листов смотрели родственники. Когда по одному, когда – скопом. Некоторые улыбались. Были тут и цветные открытки. Одна открытка Сашке была незнакома. Новая, тоже цветная.

– Папка прислал, – пояснил Колька. – Иноземная. Немецкий комический танец – название.

В немецком комическом танце тётенька выставилась спиной так, что открылись у неё полосатые панталоны. Как в тельняшке руками вниз была тётенька.

– Морские… – с уважением сказал Колька. Имея в виду панталоны.Точно. И пальчиком грозит дяденьке. Будто девочка она. В детском саду выступает. На утреннике.

А дяденька упёр руки в бока. Он танцует перед тётенькой. Высоко подкидывает голые коленки. Он в шляпе с пером, в коротких штанишках и толстых гетрах. Он розовый, как боров. В усато-радостных зубах у него – трубочка.

– Он – кто?

– Папаша Ку*и*лос.

– А это что у него?

– Это подтяжки Папаши Куилоса.

– А-а… Шкодный, верно?

– Ага. Очень шкодный…

На оборотной стороне открытки явно пьяной рукой было начертано:«Колька! Это – Папаша Куилос и тётка Гретхен. Слушайся их, мерзавец!»

С любовью вставил Колька открытку обратно в прорези листа. Разгладил. Сказал во второй раз:

– Папка прислал…

Потом пришла тётя Каля и начала ругать Кольку и далёкого дядю Сашу с его дурацкой открыткой, отосланной домой под пьяную руку.

А вечером – упрямый – опять отползал Сашка с кирпичом от крыльца Аллы Романовны. Недовольно возил кирпич в нейтральной зоне. Прослушивал перелетающее над головой:

…Надо же! Это говорит, машина у меня! Хи-хи-хи! Какой милый мальчик!..

…Саша, иди сюда!..

…Да пусть играет, пусть! Мне разве жалко! И вообще: какая ты счастливая, Тоня!..

…??!…

…Да-да-да! И не спорь! У тебя вон Сашенька есть – такой хороший мальчик. А у меня… Я такая несчастная! Сколько я Коле говорила: Коля, милый, давай заведём ребёночка! Коля, ну прошу тебя! Вот такого, малюсенького, Коля! Прошу!.. Не хочет…

…Неправда! Коля любит детей…

…А вот и не любит, вот и не любит! Ты не знаешь. Сколько раз я ему говорила: Коля, милый, давай заведём…

…Ну, во-первых, детей не заводят…

…???!…

…Заводят кошек, голубей, болонок всяких… Пуделей… Детей рожают,уважаемая Алла Романовна. В муках рожают. Это, во-первых. А во-вторых,не Коля не хочет ребёнка, а вы, вы сами не хотите. Не любите вы детей, и в этом всё дело… Вот так! Вы уж извините… Сашка, домой!..

…Хи-хи-хи! Почему-то ты всегда, Тоня, пытаешься оскорбить меня.Но я…

…Да будет вам! Невозможно вас оскорбить, – совсем уж лишнее срывалось у Антонины. – Успокойтесь!.. Извините… Сашка, кому сказала!..

А между тем, не слыша, не подозревая даже о скрытой войне под окнами внизу, как ангельчик… как блаженненький ангельчик стремился из раскрытых окон к небу застольный Колин голосок, подталкиваемый туда смеющимся баском Константина Ивановича.

22. Долгое лето, или Русские пляски

…Симфонический оркестр в то Сашкино лето появился в городке неожиданно. Как с неба упал.

Запылённые два автобуса ослабши дрожали возле Заезжего дома, а музыканты, бережно выставляя футляры вперёд себя, по одному сходили на землю. Теснились, накапливались, нервно оглядывались вокруг. По команде тронулись через дорогу к Дому заезжих. Шли в футлярах до земли. Как в бараньем стаде. Так – лавой – поднимались на крыльцо и заходили в двери, которые, выдёргивая шпингалеты, испуганно распахивали, а потом удерживали две уборщицы и кастелянша.

Двухэтажный старый дом вздрагивал. Внутри стоял топот ног. Лезли по двум лестницам. В коридоры. По комнатам. (Внезапное у администраторши случилось расстройство желудка, могла улавливать всё только из туалета.) Сразу раскрыли все окна – и устроили своим тромбонам как бы банный день. Баню. Как будто с дороги. Трубили на всю округу. Сбежались пацаны. Собачонки уже сидели впереди, крутили внимательными головами, самозабвенно подвывали. Музыканты, отстранённо мыля смычками скрипки, им подмигивали.

По городку сыпали стаями. Как иностранцы. Мужчины в коротких штанишках, с фотоаппаратами, женщины в летних открытых платьях, высоко выставившись из них. Одурев от сельского воздуха, от солнца – смеялись, баловались. Фотографировали. Обезглавленный собор, где теперь кинотеатр;пыльную замусоренную площадь, где в обломанной трибунке от перекала,без кошек, чёрно орали коты; тяжёленькие купеческие лабазы, в которых и теперь запрятывались в прохладу и темноту магазинчики.

В сквере заглядывали в сдохший бассейн тощие скрипачки. С лопатками, как с жабрами. Два Папаши Куилоса изловили Сашку Новосёлова и фотографировали его. В награду. За дикий совершенно чуб и как малолетнего аборигена. Сашка держался за ржавую пипку фонтана. Чуб торчал надо лбом. Как пугач, пышно выстреливший.

Сонный базар взбаламутили. Хватали помидоры, пучки редиски, лука,укропа. Дули у мариек молоко. Хлопали их по плечам: хорошо, хорошо,матка! Яйка, яйка давай! У чувашамясника сдёрнули с крюка полбарана. Везде пели гимны дешевизне. Радостные, торопливенькие, тащили полные сумки и сетки к Дому заезжих.

Двумя же автобусами запрыгали вниз, к реке. Купаться.

Им окружили буйками на мелководье. Лягушатник сразу закипел. Вокруг плавали одетые в тельняшки милиционеры. Отмахивались от лезущих вёслами… Но никто не утонул.

Концерт был назначен на семь часов в ГорДКа, за сквером рядом с пожаркой. За высоким забором которой начальник пожарки Меркид*о*ма (фамилия такая: мерок нету – забыл дома) уже с шести втихаря бодрил своих пожарников строем.

Пожарники прошли все двадцать метров до клуба в полном молчании,как бы с угрозой. Меркидома поторапливался за строем, бодрил (раз-два!раз-два!), успевал даже выказать кулак бойцу, оставленному (брошенному)на каланче. Пригнали и милиционеров на концерт. К семи в зале было не продохнуть.

Домой Сашка прибежал с вытаращенными глазёнками. Бегал по комнате – весь в себе, перепуганный. «Начинают! Начинают! Можно опоздать!»Собираться пришлось отцу. Антонина одевала в выходное сына. «Начинают!Начинают! – всё не унимался тот. – Можно опоздать!»

Узкий тесный зал галдел – как богатое людьми застолье. За полчаса-час все давно освоились, чувствовали себя как дома: громко переговаривались, махали друг другу, все были

корешки, соседи и соседки, родственники, шутили, подпускали жареного, раскачивались от хохота как рожь под ветром – рядами.

Но когда двое мальчишек растащили на сцене занавес – всё разом смолкло.

Оркестранты сидели на сцене очень тесно, крупно. Словно грачи.Словно тетерева на дереве. Дирижёр, уже накрыленный, завис над ними почти у потолка…

Начали тянуть. Симфонию. Дирижёр осаживал, трепеща пальчиками…

Потом пела певица. Она походила на поставленную свиную ногу. В конце арии она загорл*а*нилась так, что всем стало жутко… Благополучно обрушила голос в зал с последним аккордом оркестра. Ей хлопали ожесточённо, до посинения ладоней. И она пела ещё.

В прохладные тенётыпредночья люди выходили взмокшие, тряся рубашки, вытаскивая платки. Большинства будто и не было на концерте: спокойные, продолжили обсуждение своего, обыденного, прерванного этим концертом, а если и говорили о нём – то о внешнем его, театральном, искренне принимая бутафорию за натуральность, за правду. Говорили о чёрных фраках музыкантов, поражались роскошному панбархату на скрипачках,Сплошь ОсеяннымуБрильянтом: однакосколькожеэтодлягосударства -товылазит!Вотоникуда, денежки-тонародные!Прокормитакойколхоз!АесливзятьВМасштабе?А?.. Но некоторые были с лицами просветлёнными. Можно сказать, с ликами. Слушающими свою душу. Бережно уносили что-то, может быть, и не очень понятное для себя. Но уже приобщившись к новой вере. Впустив её в себя, отдавшись ей.

И спросил отец сына:

– Ну, понравилось?..

Сашка молчал.

– Понравилось, спрашиваю!

– Нет.

– Музыка, что ли, не понравилась? – удивился Константин Иванович.

– Нет… Охранник не понравился…

– Какой охранник? Где?

– Охранник музыки… – объяснил Сашка. – Они начинают играть, а он на них – руками… Не давал играть музыку. Сердитый.

И как досказал последние слова – так после них тащил за собой отца – как на булыжнике заборонившуюся борону. Так и шли они: один тянул за руку, не оборачивался, другой – колотился, приседал, растопыривал пальцы,готовый лечь от смеха на дорогу…

Казалось, всё, этим бы и закончиться должно Сашкино знакомство с серьёзной музыкой… Не тут-то было!

Дня через два Антонина увидела у сына какую-то оструганную белую дощечку, по которой тот водил кривым прутиком. На вопрос, что это? – Сашка опустил чуб, набычился… «Это скрипка у него! – выдал Колька, двоюродный брат. – Он так играет на скрипке, хи-хи-хи!» Сашка хотел двинуть, но сдержался. «На скрипочке, дескать, играю, хи-хи-хи!» – не унимался Колька. Сашка двинул. От матери получил подзатыльник. Уравновешивающий.

Поздно вечером словно выпали в медные сумерки раскрытые окна. Где-то под ними, в комнате, у дивана в простенке, ворочался, ползал Сашка.

Боясь рассмеяться, спугнуть, Константин Иванович на кровати подталкивал жену.

Сашка двигал свою дощечку и прутик под диван. Подальше… Но Антонина знала сына – спросила растерянно:

– Возьмёт, что ли, кто? Сынок? Зачем же ты туда-то?..

Затих. Подымался на ноги. Чубатая голова понурилась в окне, в чёрном хаосе сумерек. Слушала их, осмысливала. Убралась куда-то. Стал побулькивать где-то возле стола в приготовленной и оставленной ему воде. Шарил тряпку, чтобы вытереть ноги…

– Включи лампу, сынок…

Не включил. Всё так же молчком полез на диван, в свою постель. Поскрипел там какое-то время, умащиваясь. Утих. Немного погодя размеренно запосапывал.

Константин Иванович всё посмеивался. Надо же! Музыкант! Вот ведь!.. А, Тоня? Вот пострел!

Но Антонина по-прежнему лежала с раскинутыми руками. Словно удерживала ими свою растерянность, боль. Ведь не забудет! Ни за что не забудет! Господи! Такой упрямый!..

Потом над двором и над всем миром текла, просвечивала ночь.

Из Игарки, со своего Севера, приезжал Александр Шумиха. Муж Калерии, отец – маленького Кольки. По городку к дому задувал на такси. Пролетал мимо. Поцеловать маманю и папаню. Одаривал их прямо на крыльце, на виду у всей улицы, плачущих, трясущихся. Как фокусник выкидывал на них из чемоданаразные мануфактуры. Затем велел рулить к жене, к сыну. Назад. Через три дома. Соскучился.

Часов с одиннадцати утра, как только укреплялось солнце над городком, и начинался обязательный плясовый ход. Прямо от дома Шумихи.Прямо с дороги перед домом. Тащили шест с лентами, мочалками и тряпками. Теснились под него,сплачивались, притопывая.

Птицей шёл впереди Шумиха. Замысловатая плясовая головёнка из-под картуза, красная рубаха о кистях, сапожки – с выходом. Ему гармошкой проливал его родной брат Федька, такой же замысловатый, плясовый.

Две раскрашенные бабёнки кружили сарафаны и визжали. Они – ряженые. Заречно, голодно прокрикивали, приплясывая, шумихинские дружки:

У моей милашки ляжки
Сорок восемь десятин.
Без штанов и без рубашки
Обраба-атывал один!..

Укатывались с шестом, утопывались по шоссейке к городу, взбивая пыль. В расшвырнутых воротах, как после выноса тела, брошенно оставались стоять тётя Каля и Колька. Оба – несчастные.

Поздно вечером ход – задыхающийся – пьяно бежал. То есть натурально чесал по шоссейке. К дому Шумихи. Трусцой. Будто неостановимая, пропадающая у всех на глазах лихорадка. Шест с лентами вздёргивался, как спотыкающийся, падающий конь.

Возле своих домиков мужички глазели. Посмеивались, покручивали головами. «Ну, шалопутный! Ну, даёт! Ить – целый день!»

– Дристунки-и, не спи-и! – кричал им Шумиха, отчебучивая впереди.Распущенная плисовая рубаха билась зачерневшим красным огнём-холодом. – Федька, жа-арь!

Болтающийся Федька ворочал гармошку уже как свою килу. Но – поливал.

За забором во дворе шест падал.

Расталкивались, расползались глубокой ночью. Мычали в глухой ночи вдоль провальных заборов. Длинный стол в доме – брошенное побоище. Осовевший хозяин всё ещё упрямился. Строго брал жену Калерию то на левый, то на правый глаз. Жена сметала посуду в корыто с водой. Сбрасывала стаканы в грязную воду. Как какие-то противные свои персты. Сын Колька приставал с Куилосом. Который на открытке.

Наутро всё начиналось снова. Гулянка-выпляскашумихинская шла три дня. Потом плясун отчаливал. Оказывается, брал без содержания. За поспешными сборами не успевал даже Кольке и Сашке про Папашу Куилоса. Откуда он у него в Игарке взялся.

Проводы на пристани по многочисленности провожающих походили на проводы в армию.

Под остающуюся, отчаянно наяривающую гармошку Федьки один выплясывал Шумиха на дебаркадер и дальше, на пароход, размашисто выхлопывая сапогами, ломаясь к ним, кидая в них дробь рук.

Его громадный чемодан дружок торжественно взносил на борт, удерживая на плече. Внезапно чемодан раскрылся. Совсем пустой. Как после циркового фокуса… Оглядываясь поворовски, на пароход кореш пронёс чемодан уже под мышкой.

Тётя Каля и Колька на пристани только всхлипывали, дрожали. Говорили как заведённые: «Уезжает! Он уезжает!» Антонина и Сашка их оберегали.

Потом вдали, на дамбе, у заката, приплясывая с гармошкой, Федька всё играл вдогон брату Сашке, сам – как чёрненькая скрючивающаяся гармошка.

После отъезда дяди Саши Сашка Новосёлов ещё упорнее заш*и*ркал дощечку прутиком. Увидит, птица летит – попилит ей вслед. Жук ползёт во дворе у тёти Кали – медленно идёт с ним рядом, наигрывает ему, сопровождает музыкой.

– Тебе что, гармошки нашей мало, а? – стенала с крыльца тётя Каля.Она сидела пропаще— свесив с колен руки, кинув подол меж широко расставленных худых ног. После проводов мужа – всё ещё как после похорон.

– А его Константин поведёт в школу, в музыкальную, на скрипочке учиться, хи-хи-хи, – ехидный Колька поведал.

Каля удивлённо поворачивалась к сестре:

– Правда, что ли?

Антонина, отстраняя лицо от струйного жара летней печки, варила-помешивала в медном тазу малиновое варенье. Молчала.

Но Каля уже обижалась:

– Чего надумали-то, а! Уже и гармонь им плоха! Уже забрезговали!Интеллигенты чёртовы!..

Озираясь по тесному классу, где всё было обычным, только доску разлиновали для нот белыми полосами, Константин Иванович покачивался на стуле, ухватив себя за колени, посмеивался. Объяснял. Сердце стоящего рядом Сашки словно бы мело, передувало. Как вялым ветром тополиный пух.

Голова Учителя Музыки походила на печальную состарившуюся ноту.Он молча слушал. Потом указательным сухим пальцем клюнул клавишу пианино – звук вспорхнул, у потолка влетел в солнечный луч, заиграл, запереливался в нём, утихая. «Спой», – сказал Учитель Музыки. Сашка молчал. Учитель Музыки клюнул ещё. Ту же подвесил ноту к солнцу. «Ну! Ля-я-я!» Ещё взвесил её раз, ещё. Сашка засипел, подлаживаясь, подбираясь к этой ноте.

«Так. Неплохо»,– говорил Учитель Музыки. И всё выпускал ноты. К потолку, к солнцу. По две уже, по три. Спрашивал: сколько их улетело? две или три? Сашка отвечал. «Так. Молодец!» Потом вдруг въедливо застучал по столу карандашом. Сашке. Сашка попробовал ему отстучать так же. Долбили. Как дятлы в лесу. Стремились перехитрить друг дружку. Константин Иванович смеялся.

«…Понимаете, какое дело? – говорил для Константина Ивановича, не сводя печальных глаз с Сашки, Учитель Музыки. – Мальчик не без способностей… Но… нет ведь у нас класса

скрипки. Вот ведь в чём дело. Учителя нет. Скрипача. Должен вот приехать осенью. По распределению из Уфы. Из музыкального училища. По нашей просьбе должны кого-то прислать. Парня или девушку… Ждём вот… Апока…» – Он развёл руками.

Предлагали Сашке на виолончель. Завели в другой класс.

Короткие цепкие ножки тётеньки точно проросли наружу из коричневого тела инструмента. Тётенька начала дергать смычком так, словно хотела перерезать себя пополам. А виолончель – не давала ей, не пропускала. Тут же понуро стояли её ученики. Трое. Удерживали виолончели стоймя. Точно не знали, что с этими виолончелями делать. А мечущиеся стёкла очков под чёрной грудой волос тётеньки походили на цинковые иконки, какие на базаре из-под полы показывают…

Сашку вывели из класса.

Свалилось лето, и уже мокла осень. Ломили и ломили в городке тяжёлые сырые ветры. Плешивые деревья шумели одичало. Промелькивали, стремились скорее умереть исслепнувшие листья. Лягушкой скакал, шлёпался по прибитой жёлтой листве крупный дождь.

И опять в который раз уж Сашка и Константин Иванович шли в музыкальную школу.

Учитель Музыки завлекал Сашку баяном. Он сидел с баяном, как с густо заселённым ладным домиком, где все голоса жили в полном согласии. «А вот ещё, Саша, послушай. Вот эту мелодию».

Поставленный перед баяном Сашка, казалось, не дышал. Словно заполненный его музыкой до предела.

Опять посмеивался, опять объяснял за Сашку, как за глухонемого,Константин Иванович. В чём тут, собственно, дело…

Учитель Музыки застыл от услышанного. С пальцами в клавиатурах,будто в карманах… Переложил правую руку на мех.

«Напрасно, Саша. Напрасно стыдишься его… Он же самородок, народный музыкант-самородок… А что пляшет, с гармошкой, с песнями… то если б все плясали, как он, пели, играли… зла бы не было на земле. Понимаешь, не было б… Он ведь душа народа нашего. Неумирающая душа. Которую давно закапывают, всё закопать не могут… А ты стыдишься его… Зря, Саша, совсем зря…»

Отец и сын уходили дорогой в гору, упираясь ветру, уносили раздутые на спинах плащи – словно напухшие свои души. Налетал, выпивал лицадождь. Чтобы тут же убежать и пропасть где-то.

Старый Учитель стоял за стеклом окна. Глаза его были печальны. Как остановленные маятники.

Уже на горе, увидав тащащий лужи автобус, Сашка сломя голову мчался за ним. Догонял, бежал рядом, под окнами его, почти не замечая луж.

На автостанции люди неуклюже сваливались со ступенек на землю.Больше женщины. С замявшимися подолами, навьючивались сетками,сумками, устало расходились в разные стороны.

– Не приедет никто, Саша, – гладил Сашку по голове Константин Иванович. – Сказал же Учитель… Зачем же? Не надо больше сюда бегать…

– Не приехал, не приехал… – шептал Сашка, заглядывая в пустой автобус.

Тем и закончилось всё.

Было ли в этом что-то от судьбы, от убитого призвания, или просто детским стойким желанием, желанием недоступного, наверняка неосуществимого, детским капризом, который случается даже у неизбалованных детей раз-два во всё детство – Новосёлов не мог теперь сказать. Но, как рассказывала потом мать, крохотная его душонка долго страдала от этого, плакала, и он бегал, встречал автобус каждый день, всю осень. До самого снега…

А дощечка и прутик затерялись, пропали неизвестно где, как улетают и пропадают неизвестно где птицы.

23. Дети-пэтэушники в общежитии взрослых

Рано утром опять пэтэушники мёрзли возле общаги. Приплясывали, готовились к штурму. В ответ на все увещеванияНовосёлова (ну чтоб людьми были, не давились, не дрались за места) только нервно посмеивались. Лучше б дал закурить. Новосёлов давал закурить. В полном согласии с ним пэтэушники курили. Все с тонкими шейками. Сизоватые. Как несозревшие яблочки.

Когда однако лаковый «Икарус»вывернул – рванули к нему. Как всегда. И Новосёлов впереди. У автобуса оказался первым. Рекордсмен. Стиснутый со всех сторон, вздёргивал руку. Орал: «Назад! Н-назад!» Пацанишки чуток осадили.Говорил им опять, стыдил: «Вы что – бараны, а? Бараны?..» Пэтэушники улыбались, ждали. Когда кончит, значит, Новосёл. Новосёлов поворачивался, шёл к общежитию. Сзади сразу продолжилась свалка. Правда, как бы тихая свалка. Деликатная. Куда, гад?! Баран, да, баран?!

На крыльце Новосёлов выговаривал Дранишниковой. Воспитательнице из ПТУ. Дранишникова фыркала кошкой. За стеклом автобуса пэтэушники, захватившие кресла, посмеивались. Три неудачника, которым сегодня не обломилось, независимо торчали над ними в проходе. Автобус трогался.

Через полчаса Новосёлов выводил из общежития пять-шесть парней.На сей раз – взрослых. Вручал им мётлы, лопаты, сам брал метлу погуще,пожёстче, и они начинали выметать с газонов. На дорогу. Всё что выкидывалось ночами из окон. Окурки, бумагу, тряпки какие-то, бутылочное стекло,консервные банки. От метлы Новосёлова летал жёлтый слипшийся Парашютист, выброшенный, наверняка, вон из того окошка. Весело Новосёлов покрикивал.

Без пяти минут девять у общежития появлялся ещё один руководитель. Главный. Силкина. Проходя мимо махающего метлой Новосёлова и его команды, поглядывала искоса. Хмурилась. Упустила задачу. Не поставила вопрос.

Накидывалась на завхоза Нырову. Гневно махала ручкой, показывая на стену здания. Где на одном из окон опять висело несколько трусиков женских. Снизочкой. Снизочкой вяленой рыбки… А на соседнем окне – пелёнка!С жёлтым пятном посередине! Свеже застиранным! Вы что, не видите?!

Нырова гнулась к блокноту, записывала. Будто шофёр, поспешно обежала, открыла Силкиной дверь. За стеклом пропала Дранишникова. Была – и нет. Пошли ронять стулья вахтёры.

Столовая открывалась с десяти, но уже с половины десятого начинали бить в дверь. «Открывай!» – кричали. Весёлые все. Голодные. Шоферня.

Врывались в зал. Мгновенно, как всё те же пэтэушники (одна порода!), расталкивались по раздаче. Уже с разносами все. Подготовленные. Человек тридцать. Деревенские требовалиТолько С Картофельным Пюре. Свой святой деревенский деликатес в городе. «Картофельное пюре есть? Мне только с картофельным пюре. Нет картофельного пюре? Почему нет картофельного пюре? Сейчас будет? Ладно. Мне только с картофельным пюре»… Пригородскйе снисходили до вермишели.

Кассирша наяривала ручкой кассового аппарата. Будто отзванивала от себя очередников. Едоки с полными разносами расходились по залу. За столами корешились, смеялись, жадно ели, запрокидывали стаканы с жидкой сметаной. И вновь наворачивали Биштекс. С картофельным пюре, понятное дело.

Отзавтракав, как положено ковыряя в зубах спичкой, шли в вестибюль, тащили из кармана папиросы. Некоторые выходили на осенний солнечный холод.

Над пожухлой травой сидели на корточках. Как будто орлили на воле.Покуривали, пощуривались на чахлое солнце. Как сельские мужичкицигарками, вялили сигаретками скольцованные пальцы. Остывали. Делать было нечего.

Иногда проходили Бабы. Свои. Общежитские. В плащах. В талии стервозно перетянутые. Как осы. Все с выдвинутыми грудями. Словно не могущие вздохнуть… Дружным гоготом их встречали и с подначками провожали. Некоторые даже вскакивали. Сразу находилась тема. «А вот у меня одна была, мужики, мужики!.. Покидает груди за плечи – и пошла! Зверь-баба, мужики!»

– Ха-ах-хах-хах!

Опять садились на корточки. Возбуждённые. Возбуждение не проходило. И делать было нечего. Кто-нибудь, потужившись, выпускал сакраментальное: «Что-то стало холодать… А, парни?..»

Пить никому не хотелось, после еды претило, однако зачем-то посылали в гастроном гонца.

Шли. Взмывали лифтом, к примеру, на пятнадцатый этаж. Где в одной из затхлых комнатёнок холостяков – без баб и без всяких мильтонов – какой-нибудь приблатнённый с травлёными сизыми пальцами уже раскидывал карты.

Прикуп картёжники брали бережно, в две вздрагивающие руки. Приблизив его к глазам, просчитывали игру. Вкусно обнажая фиксу, вкусно перегоняли губами папиросы. Когда накалывали ближнего, с азартом, с криком хл*я*стали карту об стол. Ширкались ладошками, смеялись, торопились разлить и врезать, пока тасовались и разбрасывались новые карты. Бутылку от посторонних глаз прятали под стол. (Пока что прятали.) Проигравшийся в полном удручениитряс гитару за горло. Пел: «Гоп со смыком – это буду я!Граждане, послушайте меня!» Компашка смеялась. Теплела компашка, теплела!

Бутылки постепенно наглели. Приносимые, новые – на стол припечатывались. Уже без всякой конспирации. В дверях начинал двоить человек в величайшем, будто в цирке спёртом, пиджаке в клетку. Очень гордый. Ошмёток. Он же – Ратов, если с фамилией его брать на глаз. С сырым и серым лицом змия. Козёл, в общем-то. Но – ладно.

Приходя, он скрипуче всегда отмечал: «А вы всё пьёте…»

Взбалтывая штанинами, подсаживая себя на палку с резиновой пяткой, выв*и*хливался с ортопедическим ботинком прямо к столу, кидал себя на стул. С большим мужским достоинством опирался на костыль. Приказывал: «Наливай!»

И ему почему-то наливали.Фужер водки – пузатый, полный – пил по-змеиному. Обезвученно и жутко. Будто с головой был в аквариуме. В аквариуме с водкой…

Никогда не закусывал. Сразу закуривал. Заглоты делал глубокие, жадные. Коричневые глаза заполнялись жидким маслом, начинали фанатично мерцать сами для себя…

– Это я ещё в цирке работал. В зверинце… Со зверями…

Говорил всегда тихо, ни к кому не обращаясь. И его почему-то слушали. Даже останавливали игру.

Когда слушатели начинали соловеть – Ошмёток бил палкой в пол.Будто шаман в бубен. Нагнетал ритм, внимание. Парни взбадривались, подбирали слюни…

…Чувствуя за спиной комиссию, которая уже шла по четырнадцатому этажу, Новосёлов выскочил из лифта на пятнадцатом. Быстро пошёл, побежал к 1542-ой.

Раскрыл дверь – и в нос ударила коричневая сырая вонь пьянки. Под брошенным тоскливым светом лампочки валялись все. Кто – где. На разные стороны по кроватям. На полу. Двое ползли куда-то на одном месте. Как соревновались. Словно уплывали… И лишь Ошмёток сидел на стуле. Пел. Дёргался как тряпичный. Как марионетка разевая пасть:

Дам-ми-но-о!
Дам-ми-но-о!

Новосёлов бросился к столу. Среди винных луж, опрокинутых бутылок, окурков, игральных карт искал ключ. Ключ, чтобы закрыть дверь. И…как в сердце толкнуло… В углу за кроватью, словно цепями прикованный к своей рвоте на полу, вздёргивался на руки и падал мальчишка. Пэтэушник. Белокурая заляпанная страшная голова раскачивалась над рвотой и падала в неё…

Новосёлов взвыл. Подбежал к парнишке, сдёрнул с пола. Поворачивался с ним, топтался, не знал куда его положить. Мычащего, умирающего. Завалил на кровать на кого-то. Этого кого-то из-под мальчишки выдернул,сбросил на пол. Повернул мальчишку на бок. Того сразу опять начало рвать.Ничего, ничего, давай,давай, пацан, пусть рвёт.

Метнулся назад, к столу, сразу нашёл ключ. Цапнул за шкирку орущего Ошмётка, поволок к двери.

Закрыв на ключ дверь, быстро тащил Ошмётка с клюшкой по коридору. Тот пытался отмахиваться, хрипел, матерился.

Кабина ещё не ушла. Ошмётка засунул в неё. Давнул кнопку. Успел выдернуть из дверей руку. Ошмёток исчез.

Тут же двери соседнего лифта разъехались, вышли Силкина, Хромов и Нырова. Ещё отстрелил один лифт. И оттуда вывалилось несколько человек.Очередная комиссия. Новосёлова захомутали. Пошли. Вертели головами,смотрели на потолки. Гнулись к плинтусам, словно искали золото. На кухне побежали тараканы. Так, порядок. Дальше шли. Двери жилых комнат в упор не видели. По потолкам больше, по потолкам. Из 1542-ой послышался резкий всхрап. Там же – козликом кто-то долго не давался. Не обратили внимания,прошли. Лицо Новосёлова было в поту. Иваном Сусаниным он шагал впереди. Сзади уже кричал Ошмёток. Пропутешествовал гад, и вернулся. Новосёлов тоже кричал, показывал рукой вверх. Все задирали головы. Точно. Трещина. Молодец. Новосёлов заставлял согнуться всех в три погибели. Под батареей протёк! Верно. Какой глазастый! От многоногой топотни кому-то на голову упала штукатурка. Временные трудности. Сюда! Завернул всех на пожарную лестницу, отсекая путь назад к лифтам. Ничего. Полезли. По ступенькам. Тут невысоко. Притом – последний. Этаж…

Поздно вечером Новосёлов сидел в 1542-ой. Было поставлено парням ребром: или пить – и вылететь из общежития, вылететь с работы, из Москвы,в конечном счёте, или… или быть людьми. Нормальными людьми. Не свиньями. Работать, учиться, жить в Москве. Больше покрывать никто не будет.Хватит. Да и не утаишь шила в мешке. На вашем этаже из каждой комнаты шилья торчат. Так что думайте. Если мозги ещё остались. А за мальчишку…за мальчишку вас, гадов, судить надо. Судить, понимаете!..

Вертел нервно на столе какую-то железку. Открывашку бутылок. Бросил.

Затаился свет лампочки под потолком. Всклоченные парни сидели по койкам. Молчали. Глаза их были раздетыми. Колотясь зубами о стекло, парни заливались пивом. Запрокидываемые бутылки быстро мелели. И снова глаза парней возвращались в комнату. Ничего уже не могли, не хотели видеть в ней…

24. Бра-ла-а!

По утрам трубы тарабанили по всей общаге с настырностью молний.Гремучих молний. Во всем шестнадцатиэтажном здании как в каком-то рассаднике. Ни один водопроводный кран нормально не работал… Только часам к десяти всё более или менее стихало. Так, раз-другой захрипит где-нибудь и утихнет.

Появлялась в коридоре молодая мамаша с ребёнком. Закрыв ключом дверь, вела капризничающего сынишку к лифтам. Чего-то недополучив, трёхлетний карапуз продолжал орать. Мама дёргала его за руку. Наклоняясь, зло увещевала. Увидев Новосёлова— задёргала сильней:

– Вот будешь орать – оставлю с трубами… – Взглянула наНовосёлова.– Одного! А сама уйду! Будешь тогда кочевряжиться!

Малыш рёв разом оборвал. Стал внимательным. Одного, мама? С трубами? Да, мама? Одного?..

Новосёлов посмеялся над страхами уводимого малыша. Однако когдадошёл подтекст, сказанного женщиной— густо покраснел. Чёрт подери-и! Это куда дело зашло! Если уже матери так пугают теперь своих детей!..

Час-полтора ходил с очередной комиссией по комнатам и кухням.Трубы часто ревели уже в спину комиссии. Но тут же прятались, не поймёшь – где? какая? Потом комиссия привыкла, не обращала внимания. (Так не обращают внимания на принимающийся зудеть тромбоз.) Новосёлов всё время отставал от всех, точно что-то забыл, оставил за спиной.

На первом этаже дёрнул дверь с табличкой «Сантехник». Застучал кулаком. Табличка подпрыгивала. Висела кособоко. Точно на одном гвозде.Нет, конечно, никого. Ладно.

Догнав, снова ходил со всеми. Через какое-то время опять колотил в дверь с косой табличкой. Время останавливалось. Дальше шло. Ладно. К вечеру увидел Ошмётка! Тот мелькнул в коридоре! Сразу заспешил. Подбежав,забарабанил в дверь. Ждал, вслушивался. За дверью зарычала труба. Гад!

На другой день увидел Ратова возле общежития. Поющего. Тяжело дыша, на него тупо смотрели трое общежитских. Тоже пьяных. Парни словно бы учились, как нужно петь. Невпопад, каждый сам по себе, начинали голосить, закидываться. Как кусты, взлохмачиваемые ветром:

…Бырадяга… проклиная судьбу-у-у…
Э-тащилыся-а на плечах с горбо-о-ом…

Ратов зло отмахивал: не так! Дирижируя, начинал реветь им правильно, связно. И общежитские опять как бы учились у него, снова начинали шуметь как кусты.

Из хора выдернув дирижёра («кусты» в испуге расшатнулись), Новосёлов за шиворот потащил его в общежитие. Ратов зло матерился, ноги его капризно выкидывались вперёд, точно привязанные к кукле.

Новосёлов хотел затащить его к Силкиной в кабинет и бросить.Швырнуть эту пьяную погань ей под ноги. Пусть полюбуется на своего любимчика… Однако в кабинете всё вышло не так…

Брошенный на диван… Ошмёток тут же нагло раскинулся на нём. Руки по спинке, нога на ногу. Точно мгновенно обрёл лицо. Мотал ортопедическим ботинком как кувалдой. «У меня своя квартира! Понял? Я – москвич! А ты кто? Ты – хрен моржовый! Вера Фёдоровна – скажите! Ха-ха-ха!»

Новосёлов потерял голову. Мгновенно порушив всё лицо, весь образРатова-москвича… сдёрнул его с дивана и начал бить спиной о стену. Рядом с диваном. Накидывать и ударять. Ошмёток истошно заорал. Силкина вскочила. Пудреное белое лицо её стало как в малине! Заскакала на месте девчонкой:

– Прекратить! Немедленно прекратить! Слышите! Новосёлов! Вы…вы… вы где находитесь?!.

Новосёлов швырнул Ошмётка на пол, пошёл к двери.

– Вы с работы у меня полетите! – кричали ему вслед. – Я на вас в суд подам!.. Долговязый идиот!..

Новосёлов хлопнул дверью. Тут же длительно, как собака, зарычала батарея. Позади Силкиной. Вместе с рычанием выполз из-под стола Ратов.Силкина забегала вокруг него:

– Мне что, убить вас, а?! Ратов! Убить?! – Щёчки женщины тряслись.– Убить?! Вы в кого превратились, Ратов, в кого?!

Ратов пополз куда-то в сторону от стола. Уволакивал левый ортопедический ботинок за собой, как разбойник ядро на цепи…

В обед он пришёл домой. Протрезвевший. Как чёрт злой. В пустой комнате, прямо на полу, вповалку спали семь человек. Чуреки для Силкиной. Перевалочный пункт. Фильтрационный лагерь на дому. Всего два квартала до общаги.«Ну ты!» – пнул чьи-то ноги, проходя в кухню.

Сдёрнул зубами бескозырку с чикана. Запрокинулся, сталпить.Бутылец оставил в руке. Сидел с лицом человека, который, казалось, сейчас скажет: прошло то время, когда меня младенчиком родители вольтижировали как хотели. Кончилась вольтижировка детства. Теперь шалишь, гад Новосёл – не дамся! Ещё посмотрим, кто кого!..

Макарона пришёл в плаще. Долгоплечий, как чучело.

– Ну, не забыл? В субботу идём…

Посидели. Допили чекушку. Покурили. Макарона достал из плаща ещё одну. Свою. Сидел с засунутыми в карманы плаща руками – как планерист. Никакой закуски на столе не было. Окурки на тарелке походили на огрызки червей. Допили вторую. Макарона поднялся. Посмотрел на халат Ошмётка. На пресловутый халат сантехника или грузчика из гастронома. «Не забудь приодеться… До субботы!» Оставил Ошмётка в дыму как в атаке.

В клетчатом цирковом пиджаке Ратов в субботу вздёргивал ортопедический свой ботинок к Макароне на второй этаж. Объемная задняя часть пиджака напоминала капот. Рупь-двадцать! Рупь-двадцать! Свет на лестницу тускло пролезал из полукруглого окна точно из поддувала. Дверь в коммуналку была открыта. Днём не закрывалась.

В раскинутой сумрачной кухне стирала соседка Макароны. Упрямо дёргалась над корытом. С задравшимся платьем – женщина точно вытрясывала из себя полные свои ляжки…

Глаза Ошмётка сделались луковыми. Быстро сунул руку в карман брюк. Капот сзади затрясся…

Женщина почувствовала. Резко обернулась. Одёрнулась.

– Чего тебе?

Ошмёток замер. Застыл, оборвав тряску. Разом убрал глаза к окну.

– Макарону…

– Нет его!

Не вынимая руки из кармана, завтыкал ботинком, пнул дверь Макароны. Дверь молчала. Женщина напряжённо ждала, пока Ошмёток мотал со своей ногой из кухни. С облегчением выдохнула. Придурок! Пошла, захлопнула дверь. Успокаиваясь, опять раскачивалась над корытом.

Возле окна-поддувала, как подтопленный светом его, Ошмёток зло онанировал. Довершал начатое в кухне.Гадство-о!

Макарону нашёл во дворе. Тот добивал за козлоногим столом козла вместе с такими же опапиросенными козлами, как сам. (Козлы удерживали костяшки в обеих руках. Уважительно. Как криптограммы.) В последний раз шарахнул дуплем-пусто. Рыба! Вдавил папиросу в стол. Поднялся. Подходя к Ратову, с большим недоверием смотрел на его пиджак. Пиджак больше походил на пальтецо в клетку. Ошмёток смахивал в нём на отшумевшего стилягу 50-х годов. На стилягу на пенсии… Чего же ты в таком? Неужели другого нет?В Большой ведь работать идём? Какого хрена! – завозмущался Ошмёток. Да больно надо! Ладно, ладно, остановил его Макарона. Будешь в этом (работать). Пошли, да побыстрей!Сам Макарона был затянул в маломерный костюм. Походил в нём на кулинарную трубку. С вылезшим кремом. Тонкие ноги его с остроносыми штиблетами действовали как альпенштоки.

В автобусе Ошмёток сидел у окна, таращился на улетающую дорогу.После дождя берёзы висели, будто шалашовки истрёпанные, жёлтые. Под одной из них большой чёрный кобель мял суку как скульптор. Ошмёток затолкал Макарону: смотри! смотри!– работает!..Лицо Макароны было индифферентным, надменным. Полным презрения к несчастному Онану.

В тесном дворе хореографического училища увидели необычное зрелище. Придурочнуюдраку. Поворачиваясь спинами, два мальчишки-балеруна лягали друг дружку ногами. В жопки, по сухим тощим ногам. Лягались очень капризно. По-бабьи. Как кенгуру какие-то. Болельщики-сверстники кричали, прыгали вокруг. «Ур-роды! – процедил Ошмёток, спотыкаясь. – А? Макарона?» Идём, идём! Макарона торопился. Однако Леваневского в училище не оказалось: уже ушёл в театр… «Ну вот!– воскликнул Макарона.Посмотрел на Ошмётка: – Сможешь бежать?» Ошмёток кивнул. В следующий миг скакал за Макароной. Мимо дерущихся. И дальше, со двора. Скакал, как пинаемый в зад. Или как скачут на воображаемых коняжках мальчишки. С высоким подскоком. Почти на одной ноге.

…Фарфоровая балерина на столе смахивала на недающуюся целку.Ошмёток сглотнул. Везде по кабинету висели афиши. С пола до потолка.Правда,уже без целок. Только с фамилиями их…

Вошёл сам хозяин кабинета. Леваневский. Грузный мужчина с выкатившимися,запьянёнными глазами барана-провокатора на бойне. Прошёл к столу, придавил балериной бумаги, которые принёс. После этого присел на край стола.

Молча смотрел на двух кандидатов. В общем-то, полудурков. Будто прикидывал – как лучше, без лишнего шума отвести их на заклание. На живодёрню.Не обнаружат ли они в последний момент подвоха. Не заблеют ли,не заблажат. Макарона переступал с ноги на ногу – точно голый. Точно на медкомиссии он. Когда на осмотр отдают только тело, а глаза, душа – уж ладно: где-то рядом стоят, маются… Ошмёток с громадным своим пиджаком да с ортопедическим ботинком казался намного ниже Макароны. Незаметней. Как малолеток…

– Ну ладно… – вздохнул Леваневский. Полез за бумажником: – Вот вам по рублю пока… Остальные потом… И чтоб не надрались у меня раньше времени!..

– Да что вы, Марк Семёнович! В первый раз, что ли, я?! – Макарона очень честно возмутился.– Уж меня-то вы знаете! – Макарона шмыгнул и опустил нос. Как бы свесил сизую, провинившуюся палицу. У Ошмётка нос был как у бандита в чулке – не придерёшься.

Однако Леваневский смотрел на новичка с большим сомнением. Спросил у Макароны:

– Про «браво-бис» хоть знает?

– Знает, Марк Семёнович. В цирке как-никак работал. Причиндалом.

– В цирке вроде бы «браво» не орут… – в раздумье сказал Марк Семёнович. – А? Циркач? Пиджак оттуда, что ли, спёр?.. – Повысил голос: – Орут там «браво» или нет?..

– Случается… – солидно прохрипел Ошмёток.

– Вот видите! – развёрнутыми показал на него ладонями Макарона.Как показывают на зайца. Только что выхваченного фокусником из цилиндра.Натуральный, Марк Семёнович! Без дураков!

– Ладно! Ясно! – поднял руку Леваневский. – В общем – ещё раз: в буфет не ходить! Раньше времени не надираться! После работы. Дома! Поняли?

Какой разговор! Семёныч! Железно! Работа – первое дело! Какие буфеты?! О чём речь?! Даже обидно (знаете ли).

…С бархатного бордюра галерки, прилежно положив на него руки,Макарона и Ошмёток наблюдали за вялым людским хаосом, происходящим внизу перед началом спектакля. Не торопясь, люди рассаживались на свои места. Многие уже сидели. Целыми рядами. Откинуто, както вспухше. Будто дрожжи. Ошмёток думал. Что, если плюнуть вниз? На чью-нибудь лысину? Или на буфера слюной цирганути? На раскрытые? Вон той? Или вовсе: достать прибор— и как из брандспойта? Во все стороны? – что бы тогда было?.. Ошмёток утробно, как сидя в бочке, начал смеяться. Подкидывался. Тихо ты! – толкнул его Макарона.

В зале притушили свет – и сразу высветилась оркестровая яма. (Оркестровая Канава,определил себе Ошмёток.) Возник над всеми дирижёр. С угловатостью плешивого штандарта – вознёс руки. Заиграли.

Внизу колыхалось море скрипачей. Раскачивались в едином ритме.Потом они упали в паузу. И как многоцветная радуга – восстал звук деревянных-духовых. Из всех неподвижно сидящих во время паузы скрипачей один всё время ёрзал на стуле. Никак не мог привыкнуть к соседке своей, тоже скрипачке.Скрипачка независимо откинулась на спинку стула. Крутые розовые наплывы ног её из куцей юбки имели вид младенцев. Просто невинных младенцев. Да. А скрипач всё косил. Взъерошенный, дикий. Извра-ще-нец! Макарона, хихикая, подталкивал Ошмётка, показывал. Ошмёток замер, увидев розовые ляжки. «В оркестровой канаве». Правый глаз Ошмётка стал полностью независим. Как спутник. И оставался таким до тех пор, пока подол сцены не стали медленно задирать (точно сцена промочила ноги) и не притушили в оркестровой… канаве свет. Вот гадство! – не успел начать Ошмёток.

Под аплодисменты под «подолом» вместо голых ног раскрылась тесная площадь средневекового города. Солидно вели базар какие-то Монтекки и Капулетти. (Макарона объяснил.) Двое. Пожилые. Во вздутых штанах – как в тыквах. Их дети под музыку бегали, скакали чертями. Суетливые ноги балерин были сродни трепетливым острым вёслам. Они ими резко отмахивали – и снова мелко перебирали. Отмахивали – и перебирали, уносясь на них в сторону с отрешённо-обиженными лицами всё тех же целок… Загнуть бы всем им салазки! А? Макарона? Да тише ты! Смотри лучше и не зевай!Макарона был внимателен.

В конце первой картины, когда все со сцены открутились и упрыгали,Макарона удовлетворённо, как хорошо оттянутый, сказал на весь зал: «Браво!» Самый первый вверг весь зал в вопли и аплодисменты. Остальные клакеры Леваневского бесновались с галерки напротив (браво! би-ис!). Орали как красноротая африканская барабанная банда. Однако… однако они быливторыми. Всего лишь вторыми. Первым всегда восклицал Макарона. Он был как бы бригадиром клакеров Большого театра. После каждого балетного номера, едва только удёргивалась за кулису последняя судорожная ножонка – он сразу говорил на весь театр: «Браво!» Все с той же полной удовлетворённостью в голосе. Как хорошо отдупленный пидор. И Ошмёток начинал орать истошней всех: «Бра-ла-а, бра-ла-а!» (Да не «брала», дурак, а – «браво»!– наставлял Макарона.)Однако Ошмёток колотился ещё пуще: «Бра-ла-а-а!»

Балерины выбегали на авансцену и распластывались в поклоне. У самого пола будто бы превращая себя в побитых, кающихся лебедиц. (У-у,целки! Я б вас!) Их партнеры, жуя жо… и, уходили за ними очень сильно, свзнятой рукой. Все смачные. Как бифштексы… Брала-а-а-а-а-а! мать вашу!..

В антракте неприкаянно слонялись среди весёлых, галдящих людей.Стояли у колонн. Один длинный, с кулинарной независимой мордой, другой низенький, точно охранник при крутом своём ботинке… Не сговариваясь двинулись в буфет.

Перед блёстким скопищем бутылок на стене за стойкой – замерли…

– Лице-ей! – выдохнулось у восторженного Макароны. – Натуральный лицей!– Ошмёток тут же согласился: точно! Натуральная козья морда! (Да-а.Вот так сравнения. Что у первого, что у второго.)

Из всего «лицея» лицеистам обломилась только бутылка ситро. Буфетчица откупорила. Содрала рубль двадцать. Однако цены!

Пили у мраморного столика. Рядом с какой-то тощей старухой в чёрном. Старуха посасывала из стопарика и хитро поглядывала на них. «Ну как,понравилось, молодые люди?» Морщины шеи у неё висели будто трапеции.Ошмёток сразу… как сказали бы в деревне, Забр*е*нговал.Отвернул рожу в сторону. Однако Макарона профессорски сказал: «Да, уважаемая. И весьма!»«Прекрасные утки!»– неожиданно добавил Ратов. Сам от себя не ожидал.Вырвалось вроде как. «Вы хотите сказать – лебеди?» – «Ну да, лебеди», – согласился знаток. Старуха прыснула. Потом махнула остатки из рюмки, цепко пошла… Да-а, коньяк. Даже старухи здесь пьют его. Но цены! Вот этот стопарик, крохотный, как птичка – под три рубля!Это ж куда годится! И ещё,главное – «раньше времени не надира-айтесь!» Дал по рублю— и «не надирайтесь». Самого бы, гада, сюда с рублём… «Не надира-айтесь!»…

Ошмёток выпил свой стакан враз, едва только разлили, поэтому дальше терпел, водил только по забегаловке шалым взглядом. И увидел!Опять! У столика дама в коричневом платье стояла. Так стояла бы у столика на задних ногах лошадь! Оттопыренный зад её был немыслимых размеров! Это какого коня надо, чтобы вставить ей сзади? Глаза Ошмёткастали смотреть на две стороны. Глаза стали независимы. Как кукушки. Не понимали, что говорил Макарона. А тот всё ныл: «Раньше времени не надира-айтесь!» Свой стакан удерживал брезгливо. Точно стакан, полный жёлтых микробов. Выпрыгивающих к тому же… На, допей, что ли?.. Эй,Онаний!..

Прежде чем начать второе действие спектакля, дирижёр довольно долго стоял перед аплодирующим залом. Дирижёрскую палочку удерживал у груди. Двумя руками. Как надёжный свой бич. Которым он сейчас стегнёт. И действительно, отворачивался к оркестру и стегал. И оркестр сразу припускал галопом. Смычками, как будто ос каких, щекотали скрипки скрипачки и скрипачи… Почти сразу же начали выкатываться и укатываться кодлы всяческих прыгунов и прыгуний. И Ошмётку пришлось опять орать «бр*а*ла!»

К концу спектакля он охрип. Натурально. Однако по-прежнему бился в кресле в честных, добросовестных припадках: бра-ла-а-а! Сам Макарона почему-то перешёл только на «бис». Размахивал руками с галерки – как с голубятни голубятник: би-и-и-исс! Монтекки и Капулетти сидели в креслах и в тыквах своих откинуто, опустошённо. Не знали, что им делать. Пока опускался занавес. «Подол» сцены…

..«Лицей» гастронома был намного скромней, чем в буфете Большого театра. Но зато всё по карману. На остальные деньги Леваневского взяли целых две белых. Да ещё на пять пива хватило.

К выходу спешили как гранатомётчики с гранатами. Для боя упакованные полностью.

25. Нечистая сила, или Грёза любви

…Задували и задували в городок растрёпанные июльские деньки. Как стрелы, мучились в них городские собачонки. Бежали и бежали неизвестно куда. Останавливались на углах. Повизгивая, жмуря глаза, опять вынюхивали поверху. То ли тоску свою неизбывную, то ли надежду.

Почерневшие за лето от солнца, словно бегущие лёгкие тени его, трусили по улице пацанята во главе с Сашкой.

Тарабанясь по доскам, над забором выпуливала удивлённая мордашка: «Сел*о*, вы куда?» – «На Белую», – коротко бросал на бегу Сашка. Мелко свитой чуб его трепался впереди – как Село…

Забегал домой. Удочку на всякий случай захватить.

– Село! Село! – покрикивали с улицы пацанята. Словно чтобы не забыть прозвища Сашки.

«Почему они зовут-то тебя так? А?» – спрашивала Антонина. Еле сдерживая смех. «Не знаю…» – опускал чуб, как наказание своё, сын.

И через минуту жёлтое «село» опять трепалось по направлению к Белой, окружённое преданными огольцами, а в высоком окне коммунальной кухни, оставленная, уменьшающаяся, махалась руками, выпутывалась из греховного смеха Антонина.

Под солнцем Белая стекала бликами. Уже искупавшись, ребятишки раскидались по песку. Закрыв глаза, одерживая себя сзади, выставляли лица солнцу. Изредка встряхивали головы, нарождая себе тёмно-белый затяжелевший свет.

– Ну скоря-а! – неслось заунывно по реке. С полчаса, наверное, уже. – Ну скоря-а!..

Лошадь стояла по колено в воде, сдерживаемая оглоблями телеги. Воды у себя под носом не признавала. Мылов поднимал вохровский картуз из реки. Из картуза истекали струи. Как из судна, затопленного лет пятьдесят назад. Сигали головастики, мальки… Лошадь опасалась мальков, думала…

– Ну скоря-а! – моталась потная, словно осыпанная брильянтом лысая голова. Засыпали с картузом жиловые руки. Вскидывались. Пугая лошадь.

– Ну скоря-а! Шала-а-ава! – снова поднимал Мылов весь водоем с лягушками. Подсовывал. Зло насаживал, насаживал картуз лошади на морду:

– Пей, пей, твою мать!..

Лошадь бросалась от него вбок, на берег, сдёрнув за собой телегу. Разом застывала, сплюнув картуз точно противогаз.

Мылов— руки врозь – ничего не может понять: где шалава, где он,Мылов? Отступал от реки расшиперясь, недоумевая. И опрокидывался на гальку – ноги в реку.

Нужно было сдвинуть от бриллиантовой башки заднее тележное колесо, под которым она, башка, оказалась. Ребятишки брали лошадь под уздцы,тянули. Осторожно дёргали. Лошадь сперва стояла как каменная. Потом пошла. Останавливали её с телегой неподалёку от Мылова. Когда прикасались к ней, гладили, на тощих боках её сразу выскакивали и начинали бегать судороги… «К кнуту привыкла, – жалел Сашка. – Не понимает…» Хотели дать ей что-нибудь. Но ничего ни у кого не было. Тогда Сашка начал скармливать хлеб, на который собирался ловить баклёшек. Лошадь ела с Сашкиных ладоней, деликатно засучивала верхнюю губу, обнажая жёлтые зубы до дёсен… Удила мешали, лязгали, но освободить её от них никто не умел…

Через полчаса в Сашкином коммунальном дворе ребятишки смотрели,как с тихим счастьем офицер Стрижёв ходил вокруг полностью разжульканного, разбросанного на промаслив-

шиеся холстины мотоцикла. Протирая руки ветошью с наслаждением, примеривался, с чего начать сборку. Был он в майке, в тапочках на босу ногу, ноги вставлены в галифе – как в две кобуры пистолеты. Вчера он разбирал мотор. Может, сегодня – ходовую часть? А? «Ходовую часть!Ходовую часть!» – громко поддерживали его ребятишки.

Стрижёв пригибался и брал в руки Деталь. Любовался ею. «Село, принеси-ка лампу». Сашка и его ватага бросались к одной из дверей – раскрытой – высокого общего сарая. Несли в десяти трепетных ладонях паяльную лампу. Стрижёв начинал жечь. Улыбался. Когд*а* он ходил офицерить в свою автороту – никто не знал. Он словно бы всё время был в отпуске.

В сквозящем свете парадного Сашка всегда неожиданно видел человека с будто отделённой, светящейся головой… Человек догадывался, что его видят, начинал спускаться по ступенькам во двор. С продуктовыми сумками и сетками разом открывал себя всему свету, солнцу.

Стрижёв в приветствии высоко подвешивал руку, склонив голову.Константин Иванович в ответ громко здоровался с ним. Кричал два-три весёлых вопроса, пока ждал сына.

Сашка подбегал, и они уходили обратно в подъезд, в подсвеченную,словно с всаженным финским ножом черноту… И все во главе со Стрижёвым почему-то смотрели на второй этаж и ждали, пока не послышатся их голоса из раскрытых окон, и к ним, голосам, не присоединится радостный голос Антонины… С облегчением возвращались к разбросанному мотоциклу, к деталям.

Антонина начинала метаться между кухней и комнатой, а Константин Иванович сидел за столом, тихо радуясь. Как гость. Не бывший здесь, по меньшей мере, год. Заполненный до краёв событиями этого года, о которых он, гость, будет рассказывать. Вот прямо через несколько минут. Подмигивал Сашке. Насупленный Сашка возил по столу машинку, только что ему подаренную. Константин Иванович не очень уверенно гладил голову сына. И вновь возвращался к положению наглядного гостя, тихо воспринимая его (гостя) статус за этим столом, осознавая его, радуясь.

Когда стол был накрыт, всё из кухни принесено, Константин Иванович, выставив бутылку, вопросительно посмотрел на жену…

– Да уж стучите, стучите! – засмеялась та. – Нет её. В командировке.Один он…

Константин Иванович подходил к стенке, стучал в неё три раза. Тотчас же, как эхо, доносился ответный, тоже тройной стук. И через минуту-другую в дверях появлялся Коля-писатель.

Остро отдавал Константину Ивановичу пальцы цепкой левой руки на пожатие. Подсаживался к столу, всегда одинаково спрашивал:

– Ну, как вы тут?.. – Точно выходил, оставлял их всех на полчаса, час.Дескать,вот, задержался. Маненько. Смеялся вместе со всеми над этим своим «маненько», натерпелся он из-за него, однако бросить, походило, не мог…

Летними вечерами, когда Антонина, переделав все домашние дела, садилась к окну, чтобы, подпершись рукой, смотреть тоскливо на уползающую, гаснущую щель заката… нередко рядом слышала такой примерно разговор:«…Ты бросишь когда-нибудь свое чёртово «маненько»? А? Бросишь или нет?! Я тебя спрашиваю?! Ведь стыдно в гости к людям пойти!» – «Так деревенский я, Алла. Привык. Бывало, маманя…» – «Вот-вот! «Маманя», «папаня»… «братяня»… Когда говорить нормально будешь? П-писатель! Ещё царапает там чего-то… М-маненько!..» По стене рядом зло захлопывались окна.Невольно думалось: что может связывать двух этих людей?..

А Коля смеялся сейчас, шутил. Словно в аттракционе, в игре на приз тыкал левой своей рукой в картошку вилку. Словно другая рука у него была привязана. К туловищу. Вареная картошка, рассыпаясь, не давалась ему. Он смеялся. Маненько неудобно. Но сейчас возьму. Во! Антонина ему… подкладывала ещё. Тоня – куда? У женщины вдруг наворачивались слёзы. От рюмки, что ли? Тонька, ты чего?.. Ну-у-у!..Антонина выскальзывала из-за стола.В коридор.

Мужчины тут же о ней забывали. От выпитых ударных первых рюмок наперебой размахивали руками с вилками и говорили, говорили…

С фанерной большой афиши, стоящей возле собора, голова тётеньки с жёлтыми длинными волосами – словно бы устремлялась. Как жёлтый, длинный, мучающийся ветер. Губы тётеньки походили на вытянутый штемпель. Которым бьют на почте. Которым придавливают сургуч. Дошколёнок Колька прочитал аршинные буквы по слогам: «Грё-за… люб-ви». Окончивший первый класс Сашка поправил: «Грёзы… любви».

До начала сеанса играли в примыкающем к собору обширном сквере.Сашка спрыгивал в высохший фонтан. Круг фонтана был большой, неглубокий, бегать в нём, стукать палкой по чугунной низкой огородке было ловко,здорово. Но Колька почему-то медлил, не спрыгивал вслед за Сашкой. Спрашивал трусовато, почему фонтан – «Нечистая сила». Называется. Сашка просмеивал его. Бабушкины сказки! Струсил, струсил! Бледнея, Колька сползал в сухой фонтан как в ледяную воду. Однако чуть погодя тоже начинал бегать, кричать, тарахтя по огородке палкой.

Какой-то старикан во френче и фуражке выгонял их из фонтана, махал им клюшкой. Дурной какой-то, ненормальный. Фонтан-то сухой. Фонтана-то нет. Старикан ругался, топался сапогами. Весь посиневший, мокрогубый. Ребятишки выпуливали наверх, шли подальше, оборачиваясь на ненормального…

Еще пять лет назад сквер носил имя Товарища . . . . . .И памятник Товарищу . . . . . .стоял в центре сквера.

Два года назад, осенью 54-го, памятник разбивали чугунной гирей.При скопившихся зрителях вокруг памятника метался суматошный кран. Кидал гирю, долбил, торопился. Сашка тряс руку отца: «Вот шмаляет! Вот шмаляет!» От памятника отлетали куски, падали целые ск*о*лы. Он стоял, как обкусанный грязный рафинад. Потом рухнул, взметнув тучу пыли.

Не отдавая себе отчёта, Константин Иванович зачем-то маршировал.На месте. Точно ему кто-то дал команду, стукнул по затылку и забыл о нём.И он сам забыл. И подмаршировывал, как дурак. Поворачивал к людям белую свою голову: «Кто бы мог подумать, а?» Глаза его смеялись. «Кто бы мог подумать про такое, а? Кто?!.»

Вечером старики во френчах в растерянности стукались в обломках клюшками. Как в порушенной своей церкви. Под чёрными фуражками глаза их были словно просвеченными.И рядом падал в гаснущее небо обезглавленный собор…

Потом обломки убрали. (Посшибали и вывезли два невысоких мелких памятника Товарищу . . . . . .За штакетником у пединститута и перед пивной на площади. Чем сразу облегчили пивников по малой и частой их надобности.)На месте памятника в сквере, на бывшем главном его месте, новые власти срочно соорудили фонтан. И даже с небольшим бассейном. Однако фонтанчик попылил немного над чашечкой и тихо, мирно издох. Тогда несколько раз упрямо продували всю систему сжатым воздухом. Пробивали, можно сказать, систему… Без толку – фонтан не получался.

Френчёвые повадились ходить к нему с цветами. В очередную годовщину Товарища . . . . . .– то ли со дня рождения его, то ли ещё чего-то там.Летом. Собирались возле фонтана в количестве двадцати двух человек. Делали перекличку. Строились. Опираясь на клюшки, стояли с цветами. Самый пламенный из них говорил речь. И вот когда стали класть ритуальные цветы на парапет бассейна, долго ломая себя в угольник, царапая в стороне негнущейся ногой… пипка фонтана вдруг резко засвистела, и с воздухом из неё начала стрелять, рваться вода. Грязная, ржавая. Всё сильнее, сильнее. Пенсионеры разинули рты. Фонтан хлестал. Френчёвые пенсионеры повели себя кто как: одни тут же начали маршировать, опупело вскидывая руки к фуражкам, другие старались вздёрнуть себя в стойку «смирно», но начи-

нали падать, ударяясь о клюшки, третьи – колотясь челюстями, рыдали. Пламенный вскочил на парапет и, хлестаемый струями, кричал что-то с жестом руки…

Прячущийся где-то за забором пожарки шутник – завернул кран. Вода разом упала, провалилась. Все опять разинули рты, не сводя глаз с пипки фонтана. Пипка молчала. Старики стояли. Все с обвисшими галифе. Как с бандурами бандуристы. Потерявшие своего поводыря… Возбуждённо бормоча, стали расходиться. Попарно. Тройками. Шутник – из-за забора – врубил.Френчёвые бросились назад…

Приходили они к фонтану и ещё несколько раз. Ритуальные цветы кисли, квасились в жиже бассейна тогда всё лето.

– А правда, что там и сейчас Вождь остался? Что теперь он – «Нечистая сила»? А, Саш?..

– Да ерунда… Раздолбали его… – произнёс Сашка, всё поглядывая на старика.

Старикан не уходил от фонтана. В свесившемся, пустом своем галифе, в растерянности топтался. Словно снова вспоминал всё недавнее, пережитое… Пошёл, наконец. Тяжело опирался на клюшку. К нему опять вернулись все его болезни.

– А почему я не видел?..

– Чего?

– Ну, как его долбали?

– Маленький ещё, наверное, был…

Колька засомневался. Разница-то год всего у них… Почему один большой уже был, а другой – маленький? И не видел? Как долбали?

Сашка спохватился:

– Опоздаем!

Старикан и разбитый памятник сразу вылетели из головы. Огибая собор, на сеанс заторопились. Не удержавшись, ещё раз полюбовались на тётеньку. На афише которая. Тётенька всё так же устремлялась. Мучительно распустив, как бы бросив за собой жёлтые длинные свои волосы.

Другая тётенька, билетёрша, оторвала контроль. И сделал вид, что их не заметила. Ну что они не взрослые. Тогда сразу заспешили к белой мороженщице. Здесь же, в вестибюле. Купили. Отошли. Ударили по мороженому язычками.

Ходили, смотрели на высокие, узкие церковные окна, забранные узорчатыми решётками. На киноактёров и киноактрис, которые густо, искусными листьями натискались на стены между этими окнами.

Перед заходом в зал Сашка взял ещё два мороженых. От отцовских десяти рублей (старыми) осталось только двадцать копеек.

Вверху, где был когда-то купол собора, на чёрных провисающих половиках дрались, воркovали голуби, и сыпался с половиков сухой помёт. Прилетала иногда и тёплая большая капля. Зрители поглядывали наверх, поругивались. В одной из чугунных батарей у стены всё время гоняло какую-то гайку или камушек. Топят они там, что ли? Лето же!..

Сашка и Колька сидели совсем одни в первых пяти рядах. Над ними, вверху, никуда не могли подеваться с экрана полураздетые дяденька и тётенька. Всё продолжали и продолжали целоваться. Мучительно, тяжело. Как изнемогая. Сашка и Колька смотрели, резко, коротко слизывали. Экономили мороженое, урежалилизк*и*. Колькина голова казалась пришипившейся, стёсанной. Сашкин чуб завинчивал как рог…

Низко стелился на дороге закат. Затонули в нём домишки, деревья, огороды. Сашка и Колька спешили домой.

– Саш, а почему они всегда целуются, целуются, обнимаются, обнимаются… а потом засыпают? А? Как убитые?

– Слабые, наверно… Киноактёры… Устают… Я бы не устал…

– Я бы тоже…

У Сашки дома ели хлеб с молоком. Константин Иванович хохотал,слушая о фильме. Потом с ворохами старой одежды и одеял лезли на сарай,где их уже дожидались другие ребятишки. Устраивались меж ними, подпирались так же кулачками, наблюдали жизнь двора и окрестностей. Ждали со всеми темноты, чтобы начать Истории. Под соломой заката головёнки пошевеливались, как вечерняя тихая ягода на ветке.

Офицер Стрижёв выкатывал мотоцикл. Резко, с разорвавшимся треском заводил. Газовал, газовал, накручивая ручкой. Ехал со двора катать девушек.

Выбирал почему-то только очень длинных. Проносился с ними за спиной, как со знаменами. Треск пропарывал то один квадрат городка, то другой. Потом мотоцикл мчался за город, слетал с пологого угора и к*а*нывал в рощу, как камень в воду. И всё. И – тишина. И – никаких, как говорится, кругов.

Глухой ночью уставшая рычащая фара болтала свой свет в канавах перед домом. Лезла широко во двор. Проснувшиеся ребятишки вскакивали, мотались на сарае, слепли, ничего не понимали. Падали по одному обратно в сон. С подскоками Стрижёв заезжал в сарай. Свет собирался в тесном помещении, недовольно дрожал. Стрижёв глушил мотор. Выключал фару. Точно разом вышибал сарай из двора.

А утром опять ходил вокруг разобранного и разложенного на холстины мотоцикла. Опять в тапочках на босу ногу, огалифеченный. Орудовал протирочными концами.

И с сарая, словно с большого голубого неба птички, смотрели на него проснувшиеся ребятишки, ещё не научившиеся так летать.

26. Борец трезво-пламенный, или А если по высшему счёту?

В начале ноября Серов был выпущен на трассу. Не отмотав полностью срока в гараже. Досрочно. Помиловали. У себя в каптёрке завгар Мельников зло подписывал путёвку. «Скажи спасибо, что запарка… Я бы тебя, гада…» Серов побледнел, вырвал бумажку. Выходя, саданул дверью.

Сунули какой-то затёртый, старый самосвал. Не бетоновоз даже. Торопятся, гады, торопятся. Олимпиада на носу. Накачку получили. Однако на бетонный слетал быстро. Гнал теперь прямиком в Измайлово. Денёк – погожий, как продувной бесёнок. Нога сама давила и давила, поддавала газку.

Ударил по тормозам, чуть не заскочив на красный. Вспотел даже разом. Гаишник не заметил. Вырубив светофор, по пояс высунулся из стакана – намахивал палкой. Через перекрёсток вручную прогонял длинную колонну «скорых помощей». Новых, необычных. В виде словно бы компактненьких катафалков. Потоком выбегающих для москвичей. Глаза Серова злорадно пересчитывали «катафалки», рука тряслась на скоростях…

Выпал зелёный. Мощно, с места, машины рванули. Лоснящейся лавой уходили под солнце. Серов газовал со всеми, но держался ближе к обочине.

Возле мотоцикла остолоповый разминал кожаные ляжки. Увидел. Разом отмахнул. Бил палкой по бортам. «Ты что, собака, – не видишь?!» Раствор стекал как из опары дрожжи. Серов – к медным щекам – подсунул путёвку! Под шлемом включились глаза. Побегали по бумажке. Остолоповый словно споткнулся. Отдал обратно путёвку. «Живо! Чтоб духу твоего не было!»

Вознёс себя на трехколёсный. Газанул. Прямой, как столп.

Серов залезал в кабину, счищал с ног раствор. О ступеньку. Торопятся, гады, торопятся. На всё плюют. Самосвал Серова рванул дальше. По-прежнему разбрасывал за собой грязь. Как лапотный мужик, допущенный на царские паркеты.

По всей стене сыпалась электросварка. Как из скворечника скворец,всё время высовывался из кабинки крановщик. Кричал что-то вниз. Будто из трубы ему прилетал ответ из трёх слов. И точно забытые на стене, точно во сне – по небу водили рукавицами монтажники.

Серов крутил из кабины головой. Туда ли? Стена была незнакомая.Бригада тоже. Но уже бежала деваха в бандитских завёрнутых сапогах. Как под уздцы, повела самосвал меж нагромождённых плит и балок куда надо.Слив раствор, Серов получил от девахи путёвку, задом запрыгал по лужам обратно. Развернулся. Рванул.

Во второй половине дня на стройке появились Манаичев и Хромов в касках. Вокруг них сыпали, скакали через лужи пристебаи. Тоже в касках.Вели. Наперебой показывали. Начальники задирали головы. Панельная стена стояла как вафля. Держалась неизвестно чем и как. Поджимает, гадов. Олимпиада. Получена накачка. Да. Серовский самосвал болтался по лужам прямо на штиблетковую группку. Того и гляди, грязью окатит. Зашибёт! Сигали н*а* стороны, выказывая кулаки и матерясь. А, гады, а-а!..

Вечером Серов метался в комнате Новосёлова. Трезвый, пламенный,ветровȍй. «…Да им же выгодно, чтобы мы жили в общагах. Выгодно! Саша!Вот если б дали этот закуток и сказали – он твой, живи! Так нет! Человек-то человеком себя почувствует тогда. И «ф» свое может сказать. И плюнет в морду всем этим манаичевым и хромовым. И уйдёт в конце концов – руки везде нужны… Но не уйдёшь – привязан! Привязан намертво! Приписной крестьянин! Негр! Быдло! Ты думаешь, Саша, страшно, что мы в общагах с семьями, с детьми? Нет. Страшно –

что мы ждём. Годами ждём. Нам помажут, мы облизнёмся – и ждём. Помазали, облизнулся – и опять лыбишься.Всё тебе нипочём! А попробуй вякни, рыпнись. Выкинут, и тысяча дураков на твое место прибежит…»

Человек дошёл до черты. До края. Дальше идти ему некуда. Это точно. Однако Новосёлов смотрел в пол. Будто его в очередной раз обманули. Серова Новосёлову уже редко приходилось видеть таким. Видеть трезвым. И сейчас, получалось, вроде как Рыжий хочет заделаться Блондином. Или брюнетом там. Помимо воли, Новосёлов не поддавался на всё это. Не хотел видеть очевидного. Видеть трезвого блондина. Больше привык к рыжему. К клоуну… Однако сказал, что лучше уехать. Нужно уехать. Добром для Серова всё это не кончится. Сказал – как приговорил.

Серов вдруг сам почувствовал, что высказался до дна, что нет пути назад, что всё уже катится, неостановимо катится к чему-то неизбежному, неотвратимому для него, отчего всё внутри сжимается, обмирает… Вдруг увидел себя висящим. С сизой душонкой, бьющейся изо рта! Зажмурился,теряя сознание, тряся головой. Жадно дышал, водил рукой по груди. «Куда… куда уезжать, Саша— куда! (Все тёр грудь.) В какие ещё общаги! Где?.. где ещё не жил? Укажите! Куда?..»

Закуривал. Руки тряслись. Сел. Жадно затягивался. Взгляд метался в тесной зонке. «Недавно читал. Один бормочет. Ах, этот Форд! Ах, иезуит!Коттеджами в рассрочку работяг к своим заводам привязывал! Ах, капиталист! Ах, эксплуататор!.. Да там хоть за реальность горбатились. За реальность! Вот она – руками можно потрогать. А у нас – за что? За помазочки от манаичевых и хромовых?.. (Манаичевы и хромовы были уже – чертями, дьяволами, выскакивали отовсюду, их нужно было ловить, бить по башкам, загонять обратно!)» Опять повторял и повторял: «Им выгодно, что мы в общагах. Выгодно! Они загнали нас туда. Им нужна наша молодость, здоровье. Наша глупость, в конечном счете. Они греют на ней руки. Они только ею и живы. Всё держится у них на молодых дураках… Пойми, Саша!»

Не понять всего сказанного было нельзя. Всё правильно, верно, всё так и есть. Точно. Но что-то удерживало Новосёлова соглашаться, кивать. Хотелось почему-то спорить. И начал спорить, говоря о том, что не везде же одни манаичевы, что есть и другие люди, в конце концов. Другие коллективы. С другими руководителями. Что прежде чем давать – надо иметь что давать.Надо построить это давать, заработать его! Это же понимать надо…

– Конечно, сытый голодному… не товарищ…

– Что ты этим хочешь сказать? – простой шоферюга, но ставший председателем совета общежития почувствовал, что краснеет. Ещё не понял до конца услышанного и – краснел.

– Да ничего особенного…– Серов прошёлся взглядом по потолку, по стене справа, по голой кровати инженера Абрамишина, уже месяц не занятой. Поднялся. Пошёл к двери.

– Нет, погоди!

– Да чего уж!..

Хлопнул дверью.

Новосёлов остался один. Стыд, красный стыд обрёл вещественность,звук, красно загудел в ушах.

Серов сидел на скамейке в Измайловском парке, перед обширной поляной, окружённой деревьями. Печально свесились у оступившегося солнца уже ослепшие жёлтые листья. В деревья не вмещалась медная тишина.

Точно бесполые, огненно-рыжие лёгкие собаки летали по поляне из конца в конец. Игриво зарывались длинными мордами в вороха рыжих листьев. Пятясь, бурно ворошили их. Как растрясывали за собой мешки. Снова улетали.

Трёхлетняя Манька побежала, подпрыгивая, догонять. Серов кинулся – еле успел схватить. Тогда прыгала на месте, сжав кулачонки, восторженными брызгаясь слюнками. «Собаки!

Собаки! Рыжие собаки!» Самодовольные хозяева стояли, выставив колено, поигрывая поводками.

Собак скоро переловили. Под конвоем увели.

Манька подбежала к мальчишке в красном комбинезоне с гербом на груди. Космонавт безропотно отдал… куклу. Пока девчонка крутила у куклы ногу, хлопал белобрысыми ресницами… Мальчишку тоже увели. Предварительно – двумя пальцами – как пинцетом – вырвав у Маньки куклу. И так же,двумя пальцами, как все тем же брезгливым пинцетом, сбросив её в специальный целлофановый мешок. Возмущённые ножки старушонки-москвички,уводящей перепуганного мальчишку, точно были мумифицированы прямо с чёрненькими прозрачными чулочками.

Серов удручённо смотрел на оставшееся детское пальто в крупную клетку, на крутящуюся головёнку в беретике, выискивающую, где бы ещё шкодан*ул*ть…

С другим мальчишкой Манька столкнулась, бегая вокруг дерева.Столкнулась нос к носу. Мальчишка и Манька походили вокруг друг друга.Как собаки. Молчком. Серьёзно оценивая. И разбежались без сожаления в разные стороны. Космонавт был лучше. Он был весь красный и с большим цветком на сердце.

На поляну пришёл послушный класс начальной школы. Мальчики и девочки наклонялись, подбирали большие листья. Ходили медленно, как во сне. Учительница в чёрном длинном пальто гордо алела. Укрощённость и послушание были полными.

Манька побежала. Вот она я! Давайте играть! Школьники смотрели на неё в недоумении. (О чём она?) С засушенными кострами пионеров в руках… Продолжили ходить и собирать. Как бы из костров этих составлять большие гербарии.

Тогда Манька вдруг схватила учительницу. За длинную полу пальто.Как за половик. Начала дёргать, тянуть. Пошли-и! Учительница до этого-то была алая – а тут покраснела страшно. Выдернула полу. Точно с ней, учительницей, совершили непристойность. Огляну лась. Но класс спал, ходил,послушно подбирал большие листья.

Стала что-то говорить насупленной Маньке, показывая на отца. Манька упрямо не уходила. Серов злорадно наблюдал, чем всё кончится. Каким будет педагогический приём.

Учительница уже подталкивала Маньку. В спину. Иди, иди, девочка. К папе. Манька возвращалась. Её опять вели, подталкивали. Она возвращалась. Весь класс смотрел, раскрыв единый рот. Маньке надоело, она побежала к отцу.

Ученики учительницу уводили в лес, оглядываясь на Маньку. И только высохшие костры их мелькали меж деревьев, пропадали…

Хотелось отругать девчонку, нашлёпать. Но вместо этого… неожиданно обнял. Гладил сразу притихшую детскую головку. Размазывались в пришедших слезах медные пятна леса.

– Поедём домой… Домой хочу… К Катьке…

Да, пора. Конечно, пора. Домой. Поднялся. Медленно пошли к выходу. К метро.

Точно свершая углублённую работу, чётко бежали спортсменки в тонких ветровках с капюшонами, треплясь как флажки. Ручонка Маньки дёрнулась было в руке Серова… но смирилась, обмякла.

Кормя за столом дочерей, Евгения не забывала поглядывать на мужа.Наблюдать за ним. Опытным глазом супруги оценивала резвость его. Рысистость на сегодня, шустрость. Но Серов пошевеливал в тарелке ложкой, был тих, задумчив. В гастроном не рвался, не бежал. Обычно – как? Пивка. Бутылку. Две. Не возражаешь? Перед обедом? А там пошло.

До этого – метания. Мечется. По коридорам. В комнатах. Со всеми общежитскими разговаривает. Бахвалится, смеётся. Бросает недокуренные папироски. А бес – уже внутри. Уже заводит. И – побежал Серов!..

Евгения подкладывала дочкам, отирала у них с губ, трогала пушистые головки. Когда она рожала первую, Катьку, когда под закидывающиеся пронзительные вопли её плод пошёл и таз раздавало, выворачивало до горизонта,после того, как вишнёвый влажный куклёнок был шлёпнут, запищал и сквозь слезы традиционно заулыбалась она, мать – она вдруг почувствовала, что не кончилось у неё, что ещё что-то шевельнулось, дёрнулось… «Не расходитесь!– испуганно крикнула врачам. – Кажется, ещё сейчас… будет…»

Врачи смеялись. Через год быть ей опять здесь. Непременно. На этом же столе. Всё-о теперь. Это уж то-очно. Никуда не денется. Примета.

И верно: через три месяца – кормила, а забеременела.

Серов бегал в панике, гнал в абортарий за углом. Но разве можно через примету? Серёжа? Да чёрт тебя дери-и! И ровно через год Серов примчал её в этот же роддом. Уже с Манькой в животе. Примету выполнила, товарищи врачи. Ой, мамоньки! Скорей!..

После обеда Катька и Манька привычно – зачалив ножку ножкой – стояли меж коленей отца. Как много белого света, отец раскрывал им большую книгу. Евгении и делать вроде бы стало нечего. Сидела на стуле. Как старуха держала руки на переднике – пальцами вверх. Будто ревматические ветки.

Теперь уже Серов беспокоился, поглядывая на жену. Характерная поза. Женщина думает. Сейчас надумает. Непременно надумает. Это же конец света, когда женщина думает! Ну, па-ап, чита-ай! – толкали его девчонки.

Серов перевернул страницу и сказал: «Маша и медведь». Русская народная сказка…

Через полчаса девчонки отвалились от отца. Сразу занялись куклятами своими. Серов потыкался у стола, перебирая на нём что-то. Сказал, что съездит к Дылдову. Рука с иголкой сразу остановилась…

– Да не пьет он! Не пьет сейчас!..

А разве кто говорит, что – пьет? И очень хорошо, что не пьет. И отвезёшь ему поесть. И очень хорошо. Известно ведь, как он питается…

– Не надо. Не собирай. Сердится он… Сам я, в крайнем случае. Схожу, куплю…

И очень хорошо. И очень хорошо. И сам. И вместе с ним. Только кое-какой отдел бы обходить. А так – всё очень хорошо…

– Сказал ведь…

Так кто же спорит? Всё хорошо. Ведь воскресенье. Поезжай. Он ждёт.

У Дылдова был гость. Надменный парень. Он сидел у дылдовского круглого окна, как у стереотрубы профессор. Не обратив ни малейшего внимания на вошедшего Серова, он Объяснял Явление: «Допустим, все стоят на переходе. Через улицу. Смотрят – красный. Нельзя. А может, это и не красный цвет вовсе. А может быть, это какой-нибудь другой цвет. Но у тебя в голове – красный, у него – красный, у меня – красный. Все уверены – красный… А кто знает, если по высшему счёту брать?..»

Дылдов пожал Серову руку, похлопал по плечу, выдвинул табуретку,приглашая на сеанс. Но чтоб не шумел он только, чтоб тихо было. Чтоб как в кино. Опять опёрся на столешницу, опять был весь внимание.

Парень стукал по коленям длинными выгнутыми пальцами. Как клюшками. «…Или – дерьмо взять. Запах. Каждый знает. Однако если по высшему счёту – сомневаюсь!..»

Серов посмотрел наДылдова. Потрогал мочку уха. Шизофреник?

Дылдов тронул подбородок. Слегка почесал. Не без того!..

Расставленные ноги парня без носков, но в мокасинах, стояли как кривые кости.

«А жизнь человеческую если посмотреть? Положенную на ничтожные гвоздочки годиков-цифр? Ничтожный рядок, протянувшийся в никуда – и всё?.. А может, жизнь-то – вширь

раскинулась, пространственно, неохватно?А человек лежит, как йог, ощущает только острые эти гвоздочки. Всем своим телом. И никуда. А? Это как? Правильно?..»

Серову да и Дылдову уже не терпелось приняться за него, не терпелось разделать его под орех, но всякий раз, как только кто-нибудь из них раскрывал рот – парень сердито подымал руку: «Я не кончил!..» Недовольно стукал по коленям выгнутыми своими клюшками. «А цирк, к примеру? Циркач в нём? Палками кидает… Этими…булавами. Или просто шарики у него гуляют. Белые. В руках. А если по высшему счёту – это зачем?.. Но человек кидает. Занят. Пусть… Или БАМ. Это как? По высшему счёту?.. Но понаехали, суетятся, соревнуются, тянут там какую-то железную дорогу. Мёрзнут, радуются. – Пусть… Для людей надо придумывать бамы, фортепьяны там разные, скрипки, булавы! Пусть кидают, забивают костыли, бренчат… Пусть думают,что работают, что достигают совершенства. Пусть всё – как бы серьёзно. По высшему счёту жизни… Людей надо жалеть работой. Да. Жалеть… Не человек для работы, а работа для человека. Пусть играет…

Или – человек не справляется там.Бесталанный. Не тянет. Что его – убить?.. Надо жалеть его. Работой. Пусть. Участвует же. Чего ж ещё? Каждый за жизнь свою произведёт всё равно больше, чем проест. Как бы плохо ни работал. Колхозы наши, заводы, конторы – всё построено на жалости к человеку. Может, даже на любви к нему. Пускай играет. Пусть думает, что работает. Ордена там ему, доску почёта – пусть. Да! А у Павлова?.. «Работа,человек, инстинкт цели!» То есть что это – конечный результат, что ли? Да фигня! Важно Участие в цели. Всем миром чтоб, собором, кучей. А не целькак таковая, не результат её. Это на Западе – глотки друг другу рвут. Пусть их. У нас – не пройдёт. Людей жалеем работой. Люди заняты. Космос? – Ура! На целину?– Ура!БАМ – ура! Булавы кидать – Ура!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.